

Курцио Малапарте

Техника государственного переворота



**Малапарте К. Техника государственного переворота.
- М.: Аграф, 1988.**

I

Хоть я и задался целью показать, как захватывают власть в современном государстве и как это государство защищают, нельзя сказать, что эта книга задумана как подражание «Государю» Макиавелли, пусть даже современное подражание, то есть достаточно далекое от макиавеллизма. Времена, к которым относятся темы, примеры из жизни, выводы и мораль «Государя», были временами такого глубокого упадка общественной и личной свободы, такого ущемления гражданского и человеческого достоинства, что было бы оскорблением для читателя, свободного гражданина, брать за образец трактат Макиавелли при рассмотрении важнейших проблем современной Европы.

Главное в политической истории последнего десятилетия — это не проведение в жизнь статей Версальского договора, не последствия войны в экономике, не усилия разных правительств по упрочению мира в Европе; это борьба тех, кто защищает принципы свободы и демократии, то есть защитников парламентского государства, с его противниками. Позиции различных политических партий — лишь политический аспект этой борьбы; с этой точки зрения и следует на них смотреть, если хочешь понять значение многих событий последних лет и предвидеть развитие теперешней ситуации в

некоторых европейских государствах.

Почти во всех странах, наряду с движениями, объявляющими себя защитниками парламентского государства, приверженцами взвешенной, то есть либеральной и демократической внутренней политики (среди них — консерваторы всех мастей, от правых либералов до левых социалистов), существуют партии, рассматривающие проблему государства в ее революционной плоскости. Таковы крайне правые и крайне левые партии, фашисты и коммунисты, которых, по аналогии с участниками заговора Катилины в Риме, мы будем называть катилинариями. Правые катилинарии боятся хаоса, они обвиняют правительство в слабости, неспособности действовать и безответственности, требуют жесткого государственного устройства и строгого контроля за всей политической, общественной и экономической жизнью. Это фанатики Государства, сторонники государственного абсолютизма. Гарантию порядка и свободы, защиту от коммунистической опасности они видят только в централистском, авторитарном» антилиберальном и антидемократическом государстве. «Все в Государстве, ничего вне Государства, никогда — против Государства», — утверждает Муссолини. Левые катилинарии ставят себе целью захват государства и установление пролетарской диктатуры. «Где есть свобода, там не может быть государства», утверждает Ленин.

Пример Муссолини и пример Ленина оказывают большое влияние на характер и развитие борьбы правых и левых катилинариев с защитниками либерального и демократического государства. Есть фашистская тактика и тактика коммунистическая; но по этому поводу необходимо заметить, что ни катилинарии, ни защитники государства до сих пор не

выказали осведомленности, в чем состоят та и другая тактики, есть ли сходство между ними и каковы их отличительные особенности. Тактика Бела Куна не имеет ничего общего с тактикой большевиков. Попытка восстания, предпринятая Каппом — это всего лишь военный путч. Государственные перевороты Примо де Ривера и Пилсудского спланированы и совершены в соответствии с традиционной тактикой, несколько не похожей на фашистскую. Может показаться, что Бела Кун — более современный, более техничный, а потому более опасный тактик, нежели эти трое, но и он, когда ставит перед собой задачу захвата государства, словно бы не отдает себе отчета в том, что существует не только современная тактика вооруженного восстания, но и современная тактика государственного переворота. Бела Кун полагает, будто он действует как Троцкий, и не замечает, что остается на уровне правил, выработанных Марксом на примере Парижской Коммуны 1871 года. Капп думает, что переворот 18-го Брюмера можно повторить в Веймарской республике. Примо де Ривера и Пилсудский воображают, будто для захвата современного государства достаточно свергнуть конституционное правительство силой оружия.

Совершенно ясно, что ни катилинарии, ни правительства до сих пор не задавались вопросом: существует ли современная техника государственного переворота, и каковы ее основные правила. Революционной тактике катилинариев все правительства продолжают противопоставлять оборонительную тактику, которая выдает полное незнание элементарных правил искусства захватывать и защищать современное государство. Один лишь Бауэр, канцлер Германского рейха, показал в марте 1920 года, что он понимает: для защиты современного

государства надо знать правила его захвата.

В ответ на развязанный Каппом мятеж рейхсканцлер Бауэр, человек заурядных способностей, прошедший школу марксизма, но в душе консерватор, как всякий немец из среднего класса, не побоялся применить оружие всеобщей забастовки: он стал первым, кто для защиты государства применил одно из основных положений коммунистической тактики. Искусство защиты современного государства основано на тех же принципах, что и искусство его захвата: это можно назвать формулой Бауэра. Система почтенного рейхсканцлера, конечно же, в корне отличается от той, что в свое время разработал Жозеф Фуше. Эта система отвергает классические полицейские меры, к которым правительства прибегают в любых обстоятельствах и для защиты от любой опасности, не делая различий между волнениями в предместье и бунтом в казарме, между забастовкой и революцией, между парламентским заговором и баррикадами. Фуше очень гордился своей системой полицейских мер: с их помощью, говорил он, можно умышленно вызвать, предупредить или подавить беспорядки любого рода. Но разве меры Фуше могли бы служить защитой от тактики коммунистов или фашистов?

В этой связи любопытно отметить, что тактика германского правительства по сдерживанию и подавлению гитлеровского мятежа¹ есть не что иное, как простое применение классических полицейских мер в его чистом виде. Желая оправдать политику германского правительства по отношению к Гитлеру, немцы говорят, что Бауэр, действующий против Гитлера — это было бы совсем не то, что действия

¹ имеется в виду Мюнхенский путч 1923 года (Здесь и далее прим. перев.)

Бауэра против Каппа. Конечно, разница между тактикой Каппа и тактикой Гитлера огромна, но нет лучшего знатока теперешнего положения в Германии, чем Бауэр. Именно в сравнении с его системой становится все очевиднее несостоятельность правительственной тактики по предохранению государства от всех возможных опасностей.

Но существует ли в действительности гитлеровская опасность, спрашивают себя защитники Веймарской республики. И отвечают: в Германии и в Европе существует только одна опасность — коммунистическая. Тут Бауэр мог бы возразить, что германское правительство борется с коммунистической опасностью теми же методами, которыми боролось с гитлеровским мятежом, то есть применяет классические полицейские меры. Приходится вернуться к формуле Бауэра. Чтобы защитить государство от фашистского или коммунистического восстания, необходимо применить оборонительную тактику, основанную на тех же принципах, что и тактика фашистов и коммунистов. Иначе говоря, Троцкому следует противопоставить Троцкого, а не Керенского с его полицейскими мерами. В сущности, Керенский — это своего рода либерально-демократический Фуше, не чуждый марксистских идей, Фуше на манер Вальдека-Руссо и Мильерана образца 1899 года. Не следует забывать, что в Германии у власти сейчас такие же керенские; а Гитлеру необходимо противопоставить Гитлера. Чтобы защититься от коммунистов и от фашистов, надо играть с ними на их же поле. Если бы Бауэру пришлось 18-го Брюмера защищаться от Бонапарта, он навязал бы ему бой на его же поле: он применил бы все возможные средства, законные и незаконные, чтобы вынудить Бонапарта остаться в сфере

парламентской процедуры, избранной Сьейесом для осуществления государственного переворота. Бонапарту Бауэр противопоставил бы тактику Бонапарта.

Современные условия в Европе предоставляют много шансов на успех честолюбивым катилинариям правого и левого толка. Несостоятельность мер, принимаемых или намечаемых правительствами, чтобы предотвратить возможную попытку восстания, так вопиюща, что во многих европейских странах существует реальная угроза государственного переворота. Особенности современного государства, многообразие и сложность его функций, тяжесть политических, социальных и экономических проблем, которые оно призвано решать, превращают его в средоточие слабостей и источник тревог народа, и усугубляют трудности, связанные с его защитой. Современное государство, в большей степени, чем мы думаем, подвержено революционной опасности: ведь правительства не знают, как его защищать. И не надо успокаивать себя, говоря, что, если правительства не умеют защищаться, то катилинарии, со своей стороны, часто проявляют незнание основных элементов современной техники государственного переворота. Да, до сих пор катилинарии во многих случаях не сумели воспользоваться благоприятными обстоятельствами для захвата власти, но это не означает, что угроза миновала.

Общественное мнение в тех странах, где существует либеральное и демократическое общественное мнение, совершает ошибку, так равнодушно относясь к возможности государственного переворота. При современном положении в Европе такая возможность не исключена ни в одной стране. Конечно, какой-нибудь Примо де Ривера или

Пилсудский не имели бы никаких шансов на успех в свободной стране, в упорядоченном и, если воспользоваться очень актуально звучащим термином восемнадцатого века, просвещенном государстве. Это совершенно бесспорно, хотя как аргумент звучит как-то уж чересчур просто, чересчур по-английски. Потому что опасность государственного переворота вовсе не обязательно должна называться «Примо де Ривера» или «Пилсудский». Какова же проблема, стоящая сейчас перед правительствами всех европейских стран?

Большинство европейских политических деятелей сродни вольтеровскому Кандиду: их либерально-демократический оптимизм спасает их от тревог и подозрений. Но среди них есть и такие, кто менее подвержен общим предрассудкам и наделен чувствительностью современного человека: они начинают понимать, что классических полицейских мер уже недостаточно для обеспечения безопасности современного государства. Недавно я изучал положение в Германии, где сейчас ожесточеннее, чем когда-либо, спорят о защите государства от внутренней опасности, и часто слышал от разных людей высказывание Штреземана о Гитлере: «Тактика, которой пользовался Цицерон против Катилины, несколько не помогла бы против Гитлера». Понятно, что Штреземан, когда ставил перед собой проблему защиты государства, имел о ней другие представления, нежели те, что освящены традициями германской внутренней политики. Он был противником тактической концепции, все еще преобладающей в большинстве европейских стран, — системы полицейских мер, которая помогла Цицерону разгромить заговор Катилины.

В дальнейшем, говоря о теперешнем положении

в Германии, я буду неоднократно возвращаться к позиции Штреземана во время Капповского путча в Берлине в 1920 году и путча Кара и Гитлера в Мюнхене в 1923 году. Неуверенность и слабость, проявленные тогда Штреземаном, как в зеркале, отражают противоречия, раздирающие души немцев перед лицом угрозы государственного переворота. В Веймарской республике государственный вопрос уже не только вопрос власти: это еще и вопрос свободы. Если оказывается, что одних полицейских мер недостаточно, чтобы обеспечить защиту рейха от возможного коммунистического или гитлеровского мятежа, то к каким мерам может и должно прибегнуть правительство, чтобы эти меры не угрожали свободе немецкого народа? В речи, которую Штреземан произнес на собрании промышленников 23 августа 1923 года, он заявил, что не колеблясь прибег бы к диктаторским мерам, если бы обстоятельства потребовали этого. Но разве между этими двумя крайностями, полицейскими мерами и мерами диктаторскими, не существует других средств для успешной защиты германского рейха? Вот как можно выразить суть германского вопроса, а также вопроса защиты государства, который сейчас является насущным почти во всех европейских странах.

Положение в современной Европе и политику европейских правительств в отношении катилинариев нельзя рассматривать и оценивать в духе Макиавелли и по его методу. Проблема захвата и защиты современного государства — это не вопрос политики, а вопрос техники. Условия, благоприятствующие государственному перевороту, не обязательно бывают политическими или социальными, и не зависят от общей ситуации в стране. Революционная техника, которую в октябре 1917 года в Петрограде применил

Троцкий, чтобы захватить власть, дала бы такие же результаты, если бы ее применили в Швейцарии или в Голландии. «Или в Англии», — прибавлял Троцкий. Это утверждение может показаться необоснованным и абсурдным лишь тем, кто считает проблему революции исключительно политической или же исключительно социальной проблемой, и измеряет современные нам ситуации и события меркой давно устаревшей революционной традиции, вспоминая Кромвеля, 18-е Брюмера или Парижскую Коммуну.

Летом 1920 года в Варшаве, на одном из совещаний дипломатического корпуса, которые почти ежедневно устраивались в резиденции папского нунция для обсуждения ситуации в Польше, куда вторглись красные полки Троцкого и где бурлили внутренние распри, мне пришлось присутствовать при оживленной, совсем не академической дискуссии о природе и опасностях революций. Это был диалог между сэром Хорэсом Рамболдом, послом Великобритании, и монсиньором Ратти, теперешним папой Пием XI, который был тогда папским нунцием в Польше. Мне выпала редкая возможность услышать, как будущий папа поддерживает мнение Троцкого о современной революции, полемизируя по этому поводу с английским послом в присутствии дипломатических представителей основных стран мира. Сэр Хорэс Рамболд утверждал, что на всей территории Польши царит хаос, и что этот хаос не сегодня-завтра неизбежно породит революцию, а потому дипломатический корпус должен безотлагательно покинуть Варшаву и эвакуироваться в Познань. Монсиньор Ратти отвечал, что беспорядок и смятение по всей Польше действительно велики, но что революция вовсе не обязательно порождается беспорядком, и, по его мнению, покинуть столицу

было бы ошибкой, тем более, что переезд дипломатического корпуса в Познань могут воспринять как проявление неверия в польскую армию: короче говоря, он не собирается покидать Варшаву. В цивилизованной стране, при мощном, четко организованном государстве, возражал английский посол, революционной опасности не существует, поскольку революции возникают только от беспорядка. Монсиньор Ратти, который, сам того не зная, отстаивал взгляды Троцкого, настаивал на том, что революция точно так же может случиться и в цивилизованной, упорядоченной, просвещенной стране вроде Англии, как и в стране, оказавшейся во власти анархии, как сейчас Польша, истерзанная борьбой политических партий и неприятельским вторжением. «Oh, never!» — воскликнул сэр Хорэс Рамболд: казалось, он был удручен и возмущен этим клеветническим измышлением о возможности революции в Англии не меньше, чем королева Виктория, когда лорд Мельбурн впервые сообщил ей о возможности сменить кабинет министров. О положении в Польше летом 1923 года стоит поговорить подробнее, — это поможет доказать, что обстоятельства, благоприятствующие государственному перевороту, не зависят от общего положения в стране и не обязательно должны иметь политический или социальный характер. Мы увидим, что в Польше в тот момент были подходящие люди, предоставлялись удобные случаи: все обстоятельства, которые сэр Хорэс Рамболд считал благоприятными для восстания, по всей видимости должны были сыграть на руку катилинариям. Почему же в Варшаве так никто и не попытался поднять восстание? Ситуация в Польше ввела в заблуждение самого Ленина. Любопытно, что теперешний папа Пий XI имел

тогда, и, вероятно, имеет еще сейчас, более четкое и более современное представление о природе революций, чем Ленин. Троцкий, один из основных создателей современной технике государственного переворота, наверняка гораздо лучше понял бы отношение Пия XI к катилинариям Европы, нежели Шарль Моррас, Доде, или все те, кто рассматривает проблему революции как проблему исключительно политическую и социальную.

II

Впервые соображения об искусстве захвата и защиты современного государства, то есть о технике государственного переворота были подсказаны мне событиями, свидетелем и в какой-то мере участником которых я стал летом 1923 года в Польше. После нескольких месяцев работы в Высшем военном совете в Версале я был назначен в октябре 1919 года атташе итальянского посольства в Варшаве. Мне неоднократно приходилось общаться с Пилсудским, и в итоге я пришел к убеждению, что над этим человеком скорее властвуют воображение и страсти, нежели логика, что он скорее самонадеян, нежели честолюбив, что воли у него больше, чем ума: он и сам любил говорить, что он сумасброд и упрямец, как все литовские поляки.

Биография Пилсудского не привлекла бы внимания Плутарха или Макиавелли: этот революционер показался мне гораздо менее интересной личностью, чем великие консерваторы — Вудро Вильсон, Клемансо, Ллойд Джордж и Фош, которых я видел и слышал на Версальской конференции. Как революционер он, по-моему, во многом уступал даже Стамбулискому, который

произвел на меня впечатление человека абсолютно аморального, самого циничного и в то же время самого убежденного катилинария из всех, кто в Европе 1919 года осмеливался говорить о мире и справедливых отношениях между народами.

Когда я впервые увидел Пилсудского в его варшавской резиденции, замке Бельведер, его внешность и манеры поразили меня. В нем чувствовался катилинарий-буржуа, озабоченный тем, чтобы замысел и осуществление самых дерзких его авантур не выходили за рамки общественной морали и национальных традиций, по-своему почитающий законность, которую он намеревался нарушить, не рискуя при этом поставить себя вне закона. Во всех своих действиях по захвату власти, увенчавшихся государственным переворотом 1926 года, Пилсудский всегда придерживался правила императрицы Марии Терезии, так определившей свою политику в Польше: «действовать на прусский манер, но соблюдая внешние приличия».

Неудивительно, что Пилсудский усвоил правило Марии Терезии и до последнего момента, то есть до тех пор, пока не стало слишком поздно, старался соблюсти видимость законности. Эта постоянная забота о соблюдении приличий, характерная для многих революционеров, свидетельствовала о его неспособности (наглядно проявившейся в 1926 году), задумать и осуществить государственный переворот по правилам искусства, которое не сводится к одной политике. У каждого искусства есть своя техника. Не все великие революционеры проявили знание техники захвата власти: Каталина, Кромвель, Робеспьер, Наполеон, — если говорить лишь о самых великих, — и даже Ленин, постигли в этом искусстве все, за исключением техники. Между Наполеоном,

победителем 18-го Брюмера, и неудачником генералом Буланже стоит лишь Люсьен Бонапарт.

Тогда, поздней осенью 1919 года, в глазах всего польского народа Пилсудский был единственным человеком, способным взять в свои руки судьбу республики. Он был главой государства, но скорее формально, чем по существу. Впрочем, и форма была несовершенна: до утверждения конституции, которую должен был разработать сейм, избранный в январе 1920 года Пилсудский был лишь временным правителем. Интриги политических партий и отдельных честолюбцев существенно ограничивали власть главы государства. Пилсудский очутился по отношению к законодательному сейму в той же ситуации, что Кромвель по отношению к парламенту, созванному 3 сентября 1654 года.

Напрасно общественное мнение ожидало, что он распустит сейм и возьмет на себя всю полноту власти. Этот жестокий диктатор с повадками буржуа, мятежник, озабоченный соблюдением законности и желающий выглядеть справедливым в глазах бедняков, этот генерал-социалист, полуреволюционер, полуреакционер, не решавшийся сделать выбор между гражданской войной и войной против советской России, каждую неделю угрожавший государственным переворотом, но для юридического прикрытия нуждавшийся в конституции, еще не выработанной сеймом и тщето требуемой народом, начинал вызывать у общественного мнения изумление и тревогу. Не только социалисты, но и политики правого толка никак не могли понять, чего дожидается этот Тезей, который целый год теревит в руках нить Ариадны и не знает, что с нею делать: то ли выводить с ее помощью государство из лабиринта политического и финансового кризиса, то ли задушить

ею свободу республики, который целый год транжирит собственное время и мешает другим, сидя в тихом Бельведере, летнем дворце польских королей, и ведя хитроумную игру с премьером Падеревским, засевающим в Королевском замке в Варшаве и отвечавшим аккордами клавесина на трубные призывы уланов Пилсудского.

Парламентские дразги и партийные интриги все больше подрывали авторитет главы государства. Социалисты едва не разуверились в старом товарище по заговорам и ссылкам из-за его необъяснимой пассивности перед лицом серьезных событий во внешней и внутренней политике. А дворянство, оставившее было надежды на насильственный захват власти после провала путча князя Сапеги в январе 1919 года, снова тешилось честолюбивыми иллюзиями и убеждало себя, будто Пилсудский уже не представляет угрозы для общественной свободы, более того: он уже не в силах защитить эту свободу от посягательств справа.

Пилсудский не питал мстительных чувств к князю Сапеге. Также из Литвы, но родовитейший аристократ, с любезными, вкрадчивыми манерами, элегантный вплоть до лицемерного оптимизма той непринужденной, небрежной английской элегантностью, которую воспитанные в Англии иностранцы усваивают, как вторую натуру, князь Сапега не мог вызвать у Пилсудского подозрения и ревность. Его дилетантский путч был обречен заранее. Осмотрительный мятежник Пилсудский, презиравший польскую знать до такой степени, что не принимал ее в расчет, отомстил Сапеге, назначив его польским послом в Лондоне. Этот Сулла, обучавшийся в Кембридже, возвращался в Англию, чтобы закончить учебу.

Однако мысль о насильственном захвате власти созревала не только у правых партий, обеспокоенных парламентским хаосом, который угрожал здоровью республики и интересам крупных землевладельцев. Генерал Юзеф Халлер, доблестно сражавшийся на французском фронте, а затем возвратившийся в Польшу с отрядами добровольцев, верными ему одному, пока оставался в тени, считаясь противником Пилсудского, и потихоньку готовился занять его место. Глава английской военной миссии генерал Картон де Уайет, которого поляки сравнивали с Нельсоном потому, что он потерял на войне глаз и руку, с улыбкой уверял, будто Пилсудский не должен доверять Халлеру, хромоту, как Талейран.

Тем временем положение в стране день ото дня ухудшалось. После падения Падеревского борьба партий ужесточилась, а новый премьер-министр Скульский, по-видимому, тоже не справлялся с политическим и административным хаосом, с непомерными притязаниями различных группировок, и событиями, которые подготавливались в глубокой тайне. В конце марта, на заседании Военного совета в Варшаве, генерал Халлер высказался резко против военных планов Пилсудского, а когда было принято решение о взятии Киева, он устранился от дальнейшего обсуждения: казалось, столь презрительное равнодушие не могло быть вызвано одними стратегическими расчетами.

Двадцать шестого апреля тысяча девятьсот двадцатого года польская армия прорвала украинскую границу и восьмого мая вступила в Киев. Легкие победы Пилсудского вызвали в Польше огромный энтузиазм: 18 мая варшавяне устроили триумфальную встречу завоевателю Киева, которого самые наивные и восторженные из его сторонников простодушно

сравнивали с победителем при Маренго. Но в начале июня Красная армия под командованием Троцкого перешла в наступление, и десятого числа Киев был захвачен конницей Буденного. Страх и смятение, вызванные этим известием, обострили межпартийные раздоры и разожгли аппетиты честолюбцев: премьер Скульский передал полномочия Грабскому, а министром иностранных дел вместо Патека был назначен князь Сапега, посол в Англии, бывший Сулла, успевший смягчиться под влиянием английского либерализма. Весь польский народ поднялся против красных захватчиков, и даже противник Пилсудского генерал Халлер привел свои отряды на подмогу униженному сопернику. Но негодующие вопли политиков всех мастей заглушали ржание коней Буденного.

В начале августа армия Троцкого дошла до стен Варшавы. По городу бродили уцелевшие после разгрома солдаты, беженцы из восточных областей, крестьяне, спасавшиеся от захватчиков, на улицах и площадях днем и ночью собирались встревоженные, молчаливые толпы, ожидавшие новостей. А гром сражения все приближался. Министерство Грабского продержалось всего несколько дней, а новый премьер, Витош, ненавистный правым, тщетно пытался хоть на время прекратить борьбу партий и организовать всенародное сопротивление. В рабочих предместьях и в квартале Налевки, варшавском гетто, где триста тысяч евреев напряженно прислушивались к далеким орудийным раскатам, уже назревал мятеж. В коридорах сейма, в министерских приемных, в кабинетах банкиров и в редакциях газет, в кафе, в казармах циркулировали самые невероятные слухи. Говорили о возможном вмешательстве германской армии, которая по просьбе нового премьера Витоша

будет сдерживать наступление большевиков: а потом, из запроса депутата Гломбиуского, стало известно, что Витош вступил в переговоры с Германией с согласия Пилсудского. Приезд генерала Вегана истолковали как результат этих переговоров и восприняли не столько как проявление слабости Витоша, сколько как умаление авторитета Пилсудского: правые партии, находившиеся под французским влиянием, воспользовались этим предлогом, чтобы обвинить главу государства в двоедушии и недомыслии, и призвали создать сильное правительство, способное решить внутренние проблемы и надежно защитить республику и армию. Витош, безуспешно пытавшийся уговорить политиканов, сам подливал масла в огонь, возлагая ответственность за распад государства на правых и левых.

Если неприятель был еще только у ворот Варшавы, то голод и смута уже вошли внутрь. На окраинах слышались брань и проклятия, а на улицах Краковского Предместья, перед фешенебельными отелями, крупными банками и дворцами знати стали появляться молчаливые группы дезертиров с изможденными бледными лицами и мутным взглядом.

Шестого августа папский нунций монсиньор Ратти как дуайен дипломатического корпуса в сопровождении послов Англии, Италии и Румынии явился к премьеру Витошу, чтобы попросить его указать место, где будет находиться правительство в случае эвакуации из столицы. Он решил на этот ответственный шаг накануне, после долгой дискуссии в его резиденции. Большинство представителей иностранных держав, согласившись с сэром Хорэсом Рамболдом и немецким послом графом Оберндорфом, высказались за безотлагательный переезд

дипломатического корпуса в какой-нибудь безопасный город, Познань или Ченстохов. Сэр Хорэс Рамболд даже внес смелое предложение: посоветовать польскому правительству сделать Познань временной столицей и перевести туда министерство иностранных дел, а вместе с ним и все посольства. Только двое из присутствующих, папский нунций и посол Италии Томазини, считали необходимым до последнего момента оставаться в Варшаве. Их позиция вызвала не только ожесточенную критику собравшихся, но и недовольство польского правительства, подозревавшего, что нунций и посол не хотят покинуть Варшаву в тайной надежде дожидаться там большевистской оккупации. Ведь в этом случае, говорили злые языки, у нунция была бы возможность установить контакт между Ватиканом и советским правительством под видом обсуждения религиозных проблем, важных для Церкви, внимательно следившей за событиями в России и готовой воспользоваться любой возможностью, чтобы усилить свое влияние в Восточной Европе. Намерение Ватикана воспользоваться тяжелейшим кризисом, в котором пребывала православная церковь после большевистской революции, проявилось не только в назначении отца Дженокки легатом на Украине, но и в особом отношении монсиньора Ратти к Андрею Шептицкому, униатскому митрополиту Львова, весьма нелюбимому в Польше. Униатская церковь в Восточной Галиции всегда рассматривалась Ватиканом как удобный канал для проникновения католицизма в Россию. Итальянского посла Томазини подозревали в том, что он выполняет инструкции министра иностранных дел графа Сфорца, продиктованные внутривластной необходимостью и желанием завязать отношения с советским правительством,

чтобы удовлетворить требования итальянских социалистов. Если бы Томазини остался в занятой большевиками Варшаве, у графа Сфорца была бы возможность вступить в дипломатические отношения с Москвой.

Демарш монсиньора Ратти был воспринят премьером Витошем чрезвычайно холодно. Тем не менее было решено, что в случае опасности польское правительство переедет в Познань, а в нужный момент распорядится о временной эвакуации из столицы иностранных представительств. Два дня спустя основная часть персонала посольств покинула Варшаву.

Авангард большевистской армии был уже у самого города. В рабочих предместьях раздавались первые выстрелы. Настало время предпринять попытку государственного переворота.

III

Варшава в те дни выглядела как город, приготовившийся к разгрому и грабежу. Августовская духота приглушала голоса и городской шум; над толпами, наполнявшими улицы, нависло гнетущее молчание. Время от времени бесконечные вереницы трамваев, нагруженных ранеными, медленно пересекали толпу. Раненые высовывались из окон, потрясая кулаками и изрыгая проклятия: в ответ с тротуара на тротуар, с улицы на улицу перекатывался долгий ропот. Под конвоем конных улан понуро плелись пленные большевики в лохмотьях, с красной звездой на груди. Толпа молча расступалась перед ними, пропускала их и снова сдвигалась. Там и тут вспыхивали стычки, но тут же затихали в начавшейся давке. Над этим морем голов порой возвышались

деревянные кресты: это шли в религиозной процессии тощие солдаты с лихорадочно горящими глазами; процессии двигались медленно, людской поток посреди улицы то застывал на месте, то тек вспять, то разливался по шумным берегам. У мостов через Вислу крикливая, паническая толпа прислушивалась к далекому грому орудий; густые тучи желтой от солнца пыли закрывали горизонт, гудевший, словно от ударов тарана. Главный вокзал днем и ночью осаждали полчища голодных дезертиров, беженцев, бродяг всех племен и всех сословий. По-видимому, одни лишь евреи оставались дома в эти суматошные дни. В Налевках, варшавском гетто, царило праздничное настроение. Ненависть к полякам, гонителям сынов Израилевых, жажда мести, радость при виде краха надменной католической Польши, проявлялись в дерзких и буйных выходках, каких не бывало прежде среди осторожных обитателей гетто, по обычаю пассивных и безответных. Евреи становились бунтовщиками: дурной знак для поляков.

Рассказы беженцев из оккупированных областей разжигали эти бунтарские настроения: в каждой захваченной деревне, в каждом городе большевики спешно формировали советы, набранные из местных евреев. Из преследуемых евреи становились преследователями. Слишком сладок был запретный плод свободы, мщениа и власти, презираемым и униженным обитателям Налевок не терпелось поскорее вонзить в него зубы. Стоявшая в нескольких милях от Варшавы Красная армия имела естественных союзников в многочисленном и все возраставшем населении гетто, чья решимость крепла день ото дня. Я тогда часто задавал себе вопрос: что удерживает от восстания эту огромную массу возбужденных людей, одержимых фанатичной ненавистью и изголодавшихся

по свободе? Любая вылазка могла бы закончиться успешно.

Распад государства, агония правительства, разгром армии, оккупация значительной части территории, паника и хаос в осажденной столице: тысячи человек, готовых на все, хватило бы, чтобы овладеть городом без боя. Однако события тех дней ясно показали мне, что, если глава заговорщиков может быть евреем, катилинариев, то есть исполнителей государственного переворота, не следует набирать из сынов Израилевых. В октябре 1917 года в Петрограде Катилиной большевистского восстания стал еврей Троцкий, а не русский Ленин; но исполнителями, катилинариями, были русские — матросы, солдаты, рабочие. В 1927 году, борясь против Сталина, Троцкий на собственном опыте убедился, насколько рискованна попытка государственного переворота, если ее осуществление доверено в основном евреям.

Дипломатический корпус почти ежедневно собирался в резиденции папского нунция, чтобы обсудить создавшееся положение. Часто мне приходилось сопровождать туда посла Томазини, которому, судя по всему, не очень нравилась позиция его коллег, дружно поддержавших сэра Хорэса Рамболда и графа Оберндорфа. Один лишь французский посол, г-н де Панафье, оценивая положение как критическое, считал все же, что отъезд дипломатов в Познань будет воспринят как бегство и вызовет общее возмущение: а потому он соглашался с монсиньором Ратти и итальянским послом, что всем следует до последнего момента оставаться в Варшаве, а срочная эвакуация будет необходима лишь в том случае, если оборона города станет ненадежной из-за внутренних беспорядков.

По сути, мнение г-на де Панафье было гораздо ближе к позиции английского и немецкого послов, чем к мнению нунция и посла Италии; монсieur Ратти и Томазини, явно решившие остаться в Варшаве даже во время большевистской оккупации, высказывали оптимизм как по поводу положения на фронте, так и по поводу положения в городе, и утверждали, что дипломатическому корпусу ничто не угрожает, даже если эвакуация в Познань будет отложена до последнего момента. А французский посол оценивал оптимистически лишь положение на фронте. Иначе он повредил бы репутации генерала Вегана. Поскольку оборона города была доверена французскому генералу, посол Франции мог открыто поддержать Рамболда и Оберндорфа лишь в том, что касалось внутренней опасности. Английский и немецкий послы больше всего боялись захвата Варшавы большевиками, в то время как г-н де Панафье не имел права бояться чего-либо, кроме восстания евреев и коммунистов. «Я боюсь, — говорил французский посол, — что Пилсудскому и Вегану вонзят нож в спину».

Как уверял монсieur Пеллегринетти, секретарь нунция, монсieur Ратти не верил в возможность государственного переворота. «Нунций, — с улыбкой говорил генерал Картон де Уайет из английской военной миссии, — не может даже представить себе, что жалкий сброд из гетто и предместий осмелится посягнуть на власть. Но Польша — не католическая Церковь, где перевороты совершают только папы и кардиналы».

Вовсе не считая, что правительство, военные и правящий класс, — словом, ответственные лица, — делают все возможное для защиты от новых и еще более грозных опасностей, монсieur Ратти тем не

менее был убежден: любая попытка восстания будет неудачной. Однако доводы французского посла были слишком весомыми, чтобы в конце концов не заронить сомнение в душу папского нунция. Поэтому неудивительно, что однажды утром монсieur Пеллегринетти явился к послу Томазини с просьбой удостовериться, приняло ли польское правительство все необходимые меры на случай попытки восстания. Томазини тут же послал за консулом Паоло Бренна, рассказал ему об опасениях нунция и в присутствии монсieurа Пеллегринетти попросил выяснить, каково положение в городе и какие меры принимаются правительством для предупреждения беспорядков и подавления возможного мятежа. Незадолго до этого военный атташе генерал Ромеи сообщил послу о новых успехах наступающей большевистской армии, и у него уже не оставалось сомнений, что Варшава обречена. Это происходило 12 августа: накануне ночью армия Троцкого заняла позиции в двадцати километрах от города. «Если польская армия продержится еще несколько дней, — добавил посол, — операция генерала Вегана может закончиться успешно. Но не стоит питать излишние иллюзии». Посол посоветовал консулу побывать в рабочих предместьях и в Налевках, где ожидалось беспорядки, чтобы определить, действительно ли там пахнет порохом, осмотреть самые уязвимые места Варшавы и своими глазами убедиться в том, что для защиты Вегана и Пилсудского от внутреннего врага, для защиты правительства от попытки переворота сделано все возможное. «Только не надо ехать туда одному», — сказал он, и посоветовал консулу взять с собой атташе французской миссии капитана Роллена и меня.

Капитан Роллен, кавалерийский офицер, наряду с майором Шарлем де Голлем был одним из самых

дельных и образованных сотрудников г-на де Панафье и военного атташе генерала Анри. Он постоянно бывал в итальянском посольстве, а с послом Томазини его связывали самые теплые, дружеские отношения. Впоследствии, в 1921 и 1922 годах, во время фашистской революции, он был атташе посольства Франции в Риме, которое помещалось в Палаццо Фарнезе; тогда мы с ним встретились снова, и он, помнится, восхищался тактикой Муссолини в борьбе за власть. С тех пор, как большевики подошли к Варшаве, мы с Ролленом почти каждый день выезжали на польские аванпосты, наблюдать за боевыми действиями. По если не считать красных казаков, грозных всадников, достойных сражаться под более славными знаменами, большевистские солдаты не казались такими уж опасными: мы видели, как они медленно, поодиночке, робко подходили к кострам. С виду это были оборванные, истощенные люди, которых гонят вперед голод и страх. Я с моим немалым военным опытом, нажитым на французском и итальянском фронтах, не мог понять, почему поляки проигрывают сражения таким солдатам.

Капитан Роллен считал, что польскому правительству неизвестны даже элементарные основы защиты современного государства. То же самое, хотя и в другом смысле, он говорил и о Пилсудском. Польские солдаты славятся отвагой в бою. По отвага солдат бесполезна, если их вождям невдомек, что искусство самозащиты заключается в знании собственных слабых мест. Меры, принятые польским правительством для предотвращения возможного восстания, были лучшим доказательством того, что правительство не имеет понятия, каковы уязвимые места современного государства. Со времен Суллы техника захвата власти сделала большой шаг вперед:

ясно, что Керенский, защищая Россию от Ленина, должен был действовать совсем не так, как действовал Цицерон, защищая римскую республику от Катилины. Если когда-то весь вопрос был в своевременных и правильных полицейских мерах, то теперь все сводится к технике. В Берлине, в марте 1921 года, во время капповского путча, жизнь показала, как велико различие между полицейским и техническим подходами к проблеме.

Польское правительство действовало как Керенский: по примеру Цицерона. Но за прошедшие века искусство захвата и защиты государства изменялось по мере того, как изменялась сама природа государства. Полицейские меры, которых оказалось достаточно для разгрома Катилины, были бессильны против Ленина. Ошибка Керенского была в том, что он хотел защитить уязвимые точки современного города, с электростанциями, банками, железнодорожными вокзалами, телефоном, телеграфом и типографиями, теми же методами, какими Цицерон защищал Рим, где уязвимыми местами были Форум и Субура.

В марте двадцать первого года Капп упустил из виду, что в Берлине, помимо рейхстага и министерств на Вильгельмштрассе, есть еще электростанции, вокзалы, радиопередатчики, телеграф и типографии. Коммунисты воспользовались его просчетом, чтобы парализовать жизнь в городе и принудить к сдаче временное правительство, захватившее власть по методам военной полиции. В ночь на 2 декабря Луи Наполеон начал государственный переворот с захвата типографий и колоколен. Но в Польше никто не желает учиться на собственном опыте, не говоря уж о чужом. Поляки уверены, что им первым принадлежит честь многих исторических свершений, и никакое

значительное событие их национальной истории не имеет прецедентов в других странах.

Меры предосторожности, принятые премьером Витошем, сводились к обычным полицейским мерам. Охрана важнейших мостов через Вислу, железнодорожного и Пражского, состояла лишь из двух пар часовых, по паре у каждого въезда на мост. Электростанцию вообще никто не охранял, мы не обнаружили там ничего похожего на службу безопасности. По словам начальника, несколько часов назад ему позвонили из комендатуры и сказали, что ответственность за любой акт саботажа и любой перерыв в подаче тока будет возложена на него лично. В варшавской цитадели, находившейся на самой окраине, за Налевками, было полно улан и лошадей: мы беспрепятственно вошли в нее и так же вышли, часовые и не подумали требовать у нас пропуск. Заметим, что в цитадели были еще оружейный и пороховой склады. На железнодорожном вокзале царил невообразимый хаос: группы беженцев штурмовали поезда, на платформах и на рельсах металась возбужденная, орущая толпа, тут и там прямо на земле спали пьяные солдаты. «*Somno vinoque sepulti*»², сказал по-латыни капитан Роллен. Тут хватило бы десяти человек, вооруженных ручными гранатами. Здание Генерального штаба на главной площади Варшавы, под сенью теперь уже не существующей русской церкви, охраняли, как в обычное время, двое часовых. В дверях и в вестибюле сновали офицеры и фельдъегери, с головы до пят покрытые пылью. Среди всей этой неразберихи мы спокойно вошли, поднялись по лестнице, прошли по коридору в комнату, увешанную картами, где в углу

² «*Somno vinoque sepulti*» – объятые пьяным сном (лат.).

сидел за столом офицер: он поднял голову и кивнул нам со скучающим видом. Пройдя другим коридором, мы очутились в приемной: там у приоткрытой двери стояли в ожидании серые от пыли офицеры. Затем мы спустились в вестибюль. Когда мы выходили на улицу мимо двух часовых, капитан Роллен с улыбкой взглянул на меня. Главный почтамт охранял пикет солдат под началом лейтенанта. Лейтенант сказал нам, что ему приказано в случае беспорядков преградить толпе доступ к почтамту. Я высказал соображение, что выстроенный перед входом пикет солдат сумеет, конечно, оттеснить взбунтовавшуюся толпу, но будет бессилен против десятка вооруженных, решительно настроенных людей. Лейтенант улыбнулся и, показав на спокойно входивших и выходивших посетителей почтамта, заметил, что эти десять человек могли уже войти по одному, или, быть может, входят сейчас на наших глазах. «Я поставлен здесь, чтобы подавить бунт, — сказал он в заключение, — а не давать отпор вооруженному нападению». Перед министерствами стояли взводы солдат, которые с любопытством разглядывали входящих и выходящих чиновников и посетителей. Сейм был окружен жандармами и конными уланами: оттуда группками выходили депутаты, что-то негромко обсуждая. В вестибюле мы натолкнулись на маршала сейма Тромпшинского, грузного, встревоженного человека, который приветствовал нас с рассеянным видом: вокруг него стояли депутаты из Познанского воеводства и слушали его холодно и внимательно. Тромпшинский, уроженец Познани, придерживавшийся правых убеждений, был открытым противником политики Пилсудского; в эти дни много говорилось о закулисных ходах, с помощью которых он хотел свергнуть правительство Витоша.

Тем же вечером в Охотничьем клубе маршал сейма говорил секретарю английского посольства Кавендишу Бентинку: «Пилсудский не умеет защищать Польшу, а Витош не умеет защищать республику». Говоря «республика», Тромпшинский имел в виду сейм. Как всякий толстяк, он никогда не чувствовал себя достаточно защищенным.

В тот день мы изъездили город вдоль и поперек, вплоть до самых дальних окраин. Когда в десять часов вечера мы проезжали мимо отеля «Савой», кто-то окликнул Роллена по имени. В дверях отеля стоял генерал Булах-Балахович и знаком приглашал нас зайти: сторонник Пилсудского, но в том смысле, какой придается этому слову в России и в Польше, этот русский генерал командовал знаменитыми черными казаками, сражавшимися на стороне Польши против красных казаков Буденного. Генерал с наружностью бандита, храбрый солдат, искушенный во всех хитростях партизанской войны, дерзкий и лишенный предрассудков, Булах-Балахович был пешкой в руках Пилсудского, который использовал его и атамана Петлюру, чтобы поддерживать в Белоруссии и на Украине восстание против большевиков и против Деникина. Он со своим штабом разместился в отеле «Савой», откуда время от времени ненадолго отлучался, чтобы между двумя стычками понаблюдать политическую ситуацию: падение правительства Витоша не осталось бы для него без последствий, могло бы принести ему либо вред, либо пользу. За событиями внутри страны он следил с большим вниманием, чем за наступлением буденновской конницы. Поляки не доверяли ему, и сам Пилсудский обращался с ним крайне осторожно, как с опасным союзником.

Балахович сразу заговорил о политике,

откровенно выразив мнение, что только государственный переворот, совершенный правыми, может спасти столицу от неприятеля, а всю страну от гибели. «Витош не в силах повлиять на ход событий и защитить армию Пилсудского с тыла, — сказал он. — Бели никто не решится взять власть в свои руки, чтобы положить конец хаосу, организовать всенародное сопротивление и защитить республику от грозящих ей опасностей, то через день-два мы станем свидетелями коммунистического переворота». Капитан Роллен полагал, что предотвратить коммунистический мятеж уже невозможно, а среди правых нет людей, способных взять на себя такую тяжелую ответственность. Если взглянуть на положение в Польше, возражал Балахович, ответственность за переворот покажется не такой уж тяжелой, ведь речь идет о спасении республики; что же касается трудности самого предприятия, то захватить власть смог бы любой идиот. «Но Халлер на фронте, у Сапеги нет серьезной поддержки, а Тромпшинский боится», — прибавил он. Тут я заметил, что среди левых, очевидно, также нет людей, которым эта задача была бы по плечу: что мешает коммунистам предпринять попытку переворота? «Вы правы, — согласился Балахович, — на их месте я бы так долго не тянул. Не будь я русским, чужим в этой стране, которая дала мне приют и за которую я сражаюсь, я уже успел бы совершить переворот». Роллен улыбнулся: «Будь вы поляком, — сказал он, — вы ничего бы еще не успели: в Польше всегда слишком рано что-либо делать до тех пор, пока не станет слишком поздно».

Балахович и в самом деле способен был сместить Витоша за считанные часы. Тысячи его казаков было бы достаточно, чтобы внезапно взять под контроль все нервные узлы города и обеспечить порядок на

некоторое время. А потом? Балахович и его солдаты были русскими, и вдобавок еще казаками. Переворот, конечно, удался бы без особых трудностей; в этих обстоятельствах трудности наступили бы позже. Захватив власть, Балахович без промедления передал бы ее правым: но ни один польский патриот не принял бы власть из рук чужеземца. Создавшаяся таким образом ситуация принесла бы выгоду одним лишь коммунистам. «В конце концов, — сказал в заключение Балахович, — это был бы хороший урок для правых».

Вечером того же дня в Охотничьем клубе вокруг Сапеги и Тромпшинского собрались некоторые наиболее влиятельные фигуры из дворянско-помещичьей оппозиции. Из иностранных дипломатов присутствовали лишь граф Оберндорф, английский генерал Картон де Уайет и секретарь французской миссии. Все казались спокойными, за исключением Сапеги и Оберндорфа. Сапега делал вид, будто не слышит разговоров, которые велись вокруг него, и время от времени оборачивался, чтобы обменяться несколькими словами с генералом Картоном де Уайетом, обсуждавшим с графом Потоцким положение на фронте. За минувший день большевики ощутимо продвинулись в направлении Радзимины, деревни километрах в двадцати от Варшавы. «Будем сражаться до утра», — с улыбкой сказал англичанин. Граф Потоцкий всего несколько дней назад прибыл из Парижа и собирался вернуться во Францию сразу же, как только фортуна улыбнется Польше. «Вы, поляки, — заметил Картон де Уайет, — все похожи на вашего знаменитого Домбровского, который при Наполеоне командовал польскими легионами в Италии. Я всегда готов умереть за мое отечество, говорил Домбровский, — но жить в нем не

готово.

Таковы были люди, собравшиеся в клубе, таковы были их разговоры. Вдали слышался гром орудий. Утром, перед тем, как расстаться, посол Томазини просил вечером ждать его в Охотничьем клубе. Было уже поздно, и я хотел уйти, как вдруг вошел Томазини. К нашим сообщениям о непредусмотрительности правительства Витоша он отнесся серьезно, однако для него это не было новостью. Несколькими часами раньше сам Витош жаловался ему, что не чувствует себя в безопасности. И все же Томазини был уверен, что среди противников Пилсудского и Витоша нет людей, способных решиться на государственный переворот. Единственными, кто вызывал у него беспокойство, были коммунисты; но боязнь все испортить каким-нибудь неосторожным демаршем мешала им ввязаться в пусть и не слишком опасную, но бесполезную авантюру. Было ясно, что они уже считают себя победителями и намерены спокойно дожидаться Троцкого. «Вот и монсиньор Ратти, — сказал Томазини капитану Роллену, — решил соблюдать уговор, принятый нами ранее. Нунций и я останемся в Варшаве до последнего момента, что бы здесь ни случилось». Позже Роллен не без иронии заметил: «Как будет жаль, если ничего не случится!»

Вечером следующего дня, когда стало известно, что большевистская армия захватила Радзимины и начала штурмовать один из мостов на окраине Варшавы, дипломатический корпус спешно эвакуировался в Познань. В столице остались только папский нунций, посол Италии, а также временные поверенные в делах Соединенных Штатов Америки и Дании.

Ночью в городе царил паника. На следующий день, 15 августа, в праздник Успения, варшавяне шли

в процессии за статуей Богоматери, громко взывая к ней о помощи, моля спасти Польшу от вражеского нашествия. Но когда уже казалось, что все потеряно, что с минуты на минуту из-за угла улицы навстречу процессии выедут красные казаки, город молниеносно облетела весть о первых победах генерала Вегана. Армия Троцкого отступала по всему фронту. Троцкому не хватило одного необходимого союзника: Катилины.

IV

«Мы рассчитывали на революцию в Польше, но революции не произошло», — заявил Ленин Кларе Цеткин осенью 1920 года. Если считать, подобно Хорэсу Рамболду, что хаос — самое необходимое из условий, благоприятствующих государственному перевороту, то в чем оправдание польских катилинариев? Армия Троцкого у стен Варшавы, исключительная слабость правительства Витоша, тревожные и бунтарские настроения в народе, — разве все это не создавало благоприятные условия для восстания? «Любой идиот мог бы захватить власть», — говорил Балахович. В 1920 году таких идиотов было полно не только по всей Польше, но и по всей Европе. Как же могло случиться, что при таких обстоятельствах в Варшаве никто, даже коммунисты, не попытался совершить переворот? Единственным человеком, не питавшим иллюзий насчет возможной революции в Польше, был Радек. Ленин признался в этом Кларе Цеткин. Радек, знавший о бездарности польских катилинариев, утверждал, что революцию в Польше можно вызвать лишь искусственно, извне. Известно, что Радек не питал иллюзий и относительно катилинариев в других странах. Хроника событий, развернувшихся в Польше

летом 1920 года, убедительно показывает несостоятельность не только поляков, но и катилинариев всей Европы.

Если непредвзято взглянуть на ситуацию в европейских странах в 1919-1920 годах, то невольно возникает вопрос: каким чудом Европа смогла преодолеть такой тяжелый революционный кризис? Почти во всех странах либеральная буржуазия оказалась совершенно неспособной защищать государство: ее система защиты сводилась, и сводится до сих пор, к применению тривиальных полицейских мер, которыми во все времена, вплоть до наших дней, пользовались как абсолютистские, так и либеральные правительства. Но неспособность буржуазии отстоять государство компенсировалась неспособностью революционных партий противопоставить устаревшей системе обороны современную наступательную тактику, то есть полицейским мерам — революционную технику.

Просто поразительно, что в 1919-1920 годах, в самый пик революционного кризиса в Европе, ни правые, ни левые катилинарии не смогли использовать опыт большевистской революции. Им не хватало знания тактики, современной техники захвата государства, первый и классический пример которой показал Троцкий. У них было устаревшее представление о том, как надо захватывать власть, поэтому им приходилось играть по правилам противника, пользоваться методами и средствами, которым даже самые слабые и непредусмотрительные правительства успешно могут противопоставить классические методы и средства защиты. По этим предустановленным правилам гораздо легче защищаться, чем нападать. Европа созрела для революции, но революционные партии явно не сумели

использовать ни благоприятные условия, ни опыт Троцкого. По их мнению, успех большевистского восстания в 1917 году объяснялся особенностями России и просчетами Керенского. Они не замечали, что почти в каждой европейской стране находились у власти такие же керенские, не понимали, что Троцкий, задумывая и осуществляя государственный переворот, совершенно не принимал в расчет особенности России. Новизна революционной тактики Троцкого состояла именно в полном безразличии к общей ситуации в стране на замысел и осуществление большевистского переворота повлияли лишь просчеты Керенского. Тактика Троцкого была бы такой же, даже если бы положение в России было совершенно иным.

Просчеты Керенского были и остаются просчетами всей либеральной буржуазии Европы. Правительства европейских стран были чрезвычайно слабы: они держались лишь благодаря полицейским мерам. Но счастье этих либеральных правительств было в том, что сами катилинарии рассматривали революцию через призму полицейских мер.

Неумение катилинариев игнорировать условия, сложившиеся в стране, то есть рассматривать революционную тактику вне связи с политикой, а лишь в связи с техникой, ярко проявилось во время Капповского путча.

В ночь с двенадцатого на тринадцатое марта 1920 года отдельные части Балтийской армии, переброшенные в Берлин по приказу генерала фон Лютвица, предъявили ультиматум правительству Бауэра, угрожая занять столицу, если правительство не передаст власть Каппу. С самого начала этот мятеж имел характерные черты переворота, задуманного и осуществленного по классической военной схеме. Правительство Бауэра отвергло требования

мятежников и приняло полицейские меры, необходимые для защиты города и обеспечения общественного порядка. Как всегда бывает в таких случаях, военной схеме правительство противопоставило схему полицейскую: это две похожие схемы, потому-то государственные перевороты, задуманные и осуществленные военными, не имеют ничего общего с революцией. Полиция защищает государство, как если бы это был город, военные штурмуют государство, как если бы это была крепость. Меры, принятые Бауэром, сводились к тому, чтобы оцепить и перекрыть важнейшие площади и улицы и поставить охрану у общественных зданий. Лютвиц планировал заменить своими войсками полицейские части, расставленные на перекрестках главных улиц и подходах к основным площадям, перед рейхстагом и министерскими зданиями на Вильгельмштрассе. Войдя в город, Лютвиц через несколько часов стал хозяином положения. Смена власти в столице прошла без кровопролития, четко, как смена караула. Но если фон Лютвиц был военным, Капп, генеральный директор управления земледелия, был высокопоставленным чиновником. Лютвиц воображал себя хозяином Германии только оттого, что вместо полицейских общественный порядок охраняли теперь его солдаты, а по мнению новоиспеченного канцлера Каппа, контроль над министерскими зданиями сам по себе обеспечивал нормальную работу государственной машины и придавал легитимность новому правительству.

По способностям Бауэр был человеком посредственным, однако он хорошо знал германский генералитет и высшее чиновничество, а потому сразу же понял, что оказывать Лютвицу вооруженное сопротивление бесполезно и опасно. Сдача Берлина

была неизбежна. Полицейские не обучены действовать против регулярных военных частей: их дело — ликвидировать заговоры и подавлять народные бунты, а не сражаться с вымштрованными, побывавшими под огнем солдатами. Как только на Вильгельмштрассе показались ветераны фон Лютвица в сверкающих стальных касках, взвод полицейских тут же сдался мятежникам. Даже энергичный Носке, всегда считавший, что надо сражаться до последней капли крови, узнав о первых перебежчиках, разделил мнение Бауэра и остальных министров. Бауэр не ошибался, полагая, что слабое место путчистов — это государственная машина. Тот, кто сумел бы остановить эту машину или хотя бы нарушить ее работу, поразил бы капповское правительство в самое сердце. Чтобы помешать государству нормально функционировать, надо было вызвать паралич всей общественной жизни. Взгляды Бауэра были взглядами мелкого буржуа, воспитанного в школе Маркса: только буржуа из среднего класса, человек порядка, впитавший социалистические идеи, привыкший судить о людях и о событиях, даже абсолютно чуждых его складу ума, его воспитанию и его интересам, с объективностью и скептицизмом государственного чиновника, мог решиться на этот шаг — вызвать глубокое, болезненное потрясение в общественной жизни, чтобы не дать Каппу спокойно закрепиться у власти.

Перед тем, как эвакуироваться из Берлина в Дрезден, правительство Бауэра обратилось к пролетариату с призывом объявить всеобщую забастовку. Это решение Бауэра ставило Каппа в весьма затруднительное и опасное положение. Ответный удар по всем правилам контрреволюции, скажем, переход в наступление военных частей,

верных законному правительству, был бы для Каппа куда меньшей проблемой: войска фон Лютвица легко справились бы с любым вооруженным противником, но как заставить огромную массу рабочих вернуться к станкам? Уж во всяком случае, не силой оружия. И Капп, в полдень считавший себя хозяином положения, к вечеру понял, что он в плену у невидимого врага. В считанные часы жизнь в Берлине была парализована. Забастовка постепенно распространялась на всю Пруссию. Столица погрузилась во тьму: центральные улицы опустели, на рабочих окраинах царил безмятежное спокойствие. Паралич поразил все городские службы, даже в больницах медицинские сестры прервали дежурство. Железнодорожное сообщение между Берлином и остальной Пруссией, между Пруссией и всей Германией было прервано уже в первые часы после полудня, поезда замерли на рельсах; через несколько дней в Берлине должен был начаться голод. Со стороны пролетариата не было никаких насильственных действий, никаких проявлений недовольства: рабочие спокойно и организованно покинули цеха. Это был настоящий хаос.

В ночь с тринадцатого по четырнадцатое марта Берлин, казалось, спал глубоким сном. Но в отеле «Адлон», где размещались миссии союзников, до утра никто не смыкал глаз в ожидании важных событий. Утреннюю зарю Берлин встретил без хлеба, без воды и без газет, но в полном спокойствии. Рынки в рабочих кварталах были закрыты: из-за прекращения железнодорожных перевозок продовольствие в город не поступало. А забастовка между тем охватывала все новые и новые категории государственных служащих и сотрудников частных фирм. Опустели почтовые конторы, телефонные станции и телеграфы.

Закрылись банки, магазины, кафе. Чиновники в министерствах сплошь и рядом отказывались признать революционное правительство. Бауэр рассчитал правильно: забастовка распространялась как зараза. Капп не мог преодолеть пассивное сопротивление трудящейся Германии, а потому обратился за помощью к верным ему техникам и специалистам, пытаясь наладить деятельность наиболее важных структур: но время было упущено. Паралич уже затронул государственную машину. Рабочие окраины уже не были так спокойны, как в первый день: повсюду замечались недовольство, тревога, брожение. Вести, приходившие из южно-немецких земель, ставили Каппа перед выбором: уступить Германии, державшей в осаде Берлин, либо уступить Берлину, державшему в плену незаконное правительство. Кому передать власть: Бауэру или рабочим советам, которые уже создавались в предместьях? В результате путча Капп взял под свой контроль лишь рейхстаг и министерства. Положение осложнялось с каждым днем, не оставляя правительству путчистов ни средств, ни возможностей для политической игры. Вступить в переговоры не только с левыми, но даже и с правыми партиями казалось нереальной задачей. Силловые действия привели бы к непредсказуемым последствиям. Солдаты фон Лютвица попытались было заставить рабочих вернуться в цеха, но дело кончилось лишь бесполезным кровопролитием. На берлинских улицах лежали трупы: роковая ошибка для революционного правительства, забывшего позаботиться об электростанциях и вокзалах. От этой первой крови все детали государственного механизма безнадежно заржавели. Арест нескольких высокопоставленных чиновников министерства иностранных дел, случившийся на исходе третьего дня

путча, показал, какой ущерб нанесло неповиновение германской бюрократии. Пятнадцатого марта в Штутгарте было созвано Национальное собрание; докладывая президенту Эберту о кровавых событиях в Берлине, Бауэр заметил: «Ошибка Каппа в том, что он нарушил беспорядок».

Да, хозяином положения был именно он, Бауэр, человек средних способностей, человек порядка, единственный, кто понял, каким грозным оружием в борьбе с путчистами может стать беспорядок. Консерватор, проникнутый уважением к власти, либерал, чтущий законность, демократ, верный парламентской форме политической борьбы, ни за что не согласился бы на незаконное вмешательство пролетарских масс, не решились бы использовать для защиты государства всеобщую забастовку. Лишь Макиавелли в своем «Государе», приводя многочисленные примеры из истории греческих и азиатских тираний, а также итальянских княжеств эпохи Возрождения, разрешал призывать на помощь народ, чтобы защититься от дворцового переворота или вероломного нападения. Макиавеллиевский государь был, конечно, более консервативен, чем тори викторианской Англии; однако идея о незыблемости государства не входила в число его предрассудков и не была частью его политической культуры. Но у правителей современной Европы, как консерваторов, так и либералов, преданность государственной идее не позволяла привлечь пролетарские массы к незаконной акции, какая бы грозная опасность ни нависла над государством. Позже кто-то в Германии задавался вопросом: а что бы сделал Штреземан, окажись он на месте Бауэра. Несомненно, Штреземан расценил бы бауэровский призыв к всеобщей забастовке как «запрещенный

прием».

Тут необходимо заметить, что к такому неординарному решению Бауэра логически подвела его марксистская выучка. Всеобщая забастовка как законное оружие, используемое демократическим правительством для защиты государства от военного или коммунистического переворота, — такая мысль не могла быть чужда человеку, изучавшему Маркса. Бауэр был первым, кто применил один из постулатов марксизма для защиты буржуазного государства. Его пример имеет большое значение в истории революций нашего времени.

Но вот семнадцатого марта Капп объявил, что слагает с себя власть, поскольку «в столь тяжелой ситуации всем партиям и всем гражданам Германии необходимо было объединиться, чтобы противостоять угрозе коммунистического восстания», — и доверие, которое в течение пяти дней путча немецкий народ испытывал к Бауэру, сменилось тревогой и страхом. Социалистическая партия утратила контроль над всеобщей забастовкой: подлинными хозяевами положения были теперь коммунисты. В некоторых предместьях Берлина была провозглашена красная республика. По всей Германии создавались рабочие советы: в Саксонии и Рурской области забастовка была лишь прелюдией к восстанию. Рейхсверу предстояло помериться силами с самой настоящей коммунистической армией, вооруженной пулеметами и пушками. Что сделал бы теперь Бауэр? Всеобщая забастовка свалила Каппа, но гражданская война стала бы поражением Бауэра.

Теперь, когда необходимо было подавить восстание рабочих, марксистская выучка превратилась в ахиллесову пяту Бауэра. «Восстание — это искусство», — утверждает Карл Маркс: но

искусство захвата власти, а не ее защиты. Цель революционной стратегии Маркса — захват государства, а средство — классовая борьба. Ленину, чтобы удержаться у власти, пришлось поставить некоторые основные принципы марксизма с ног на голову. Зиновьев признает это, когда пишет: «подлинный Маркс теперь невозможен без Ленина». Всеобщая забастовка в руках Бауэра стала оружием, защитившим Германию от Каппа: но для защиты Германии от пролетарского восстания нужен был рейхсвер. Солдаты фон Лютвица, оказавшиеся бессильными против всеобщей забастовки, легко справились бы с коммунистическим восстанием: но Капп отказался от власти в ту самую минуту, когда пролетариат предоставил ему выгодную возможность начать игру по его собственным, капповским правилам. Для такого реакционного политика, как он, подобная ошибка необъяснима и непростительна. Зато ошибка марксиста Бауэра, не понявшего, что с пролетарским восстанием может справиться только армия, вполне заслуживает оправдания. После безуспешной попытки прийти к соглашению с руководителями коммунистического восстания, Бауэр передал власть Мюллеру. Бесславный финал для такой отважной и честной посредственности.

Либералам и катилинариям Европы следовало еще многому научиться у Ленина и у Бауэра.

V

Какой оборот могли бы принять события Восемнадцатого Брюмера, если бы против Наполеона выступил человек, подобный Бауэру? Сопоставление Бонапарта с почтенным рейхсканцлером может кое-что прояснить. Конечно, Бауэр нисколько не

похож на героя Плутарха: это добропорядочный, принадлежащий к среднему классу немец, из которого марксизм вытравил всю немецкую сентиментальность. Самая его посредственность таит в себе неисчерпаемые возможности. Печально, что человеку с такими заурядными качествами достался в противники такой банальный неудачник, как Вольфганг Капп. Бауэр — это противник, достойный Бонапарта, тот человек, которому 18-го Брюмера надлежало померяться силами с героем Аркольского моста. Именно в нем Бонапарт нашел бы такого соперника, какого он заслуживал. Но позвольте, скажете вы, Бауэр — наш современник, немец версальско-веймарской эпохи, европеец двадцатого века, а Бонапарт — европеец восемнадцатого века, француз, которому в 1789 году было двадцать лет: так можно ли представить себе, каким образом Бауэр предотвратил бы переворот 18-го Брюмера? Бонапарт был совсем непохож на Каппа, а положение в Париже в 1799 году нисколько не походило на положение в Берлине в 1920-м. Бауэр не смог бы применить против Бонапарта свое грозное оружие — всеобщую забастовку: при тогдашнем устройстве общества, при тогдашнем уровне развития техники забастовка не нарушила бы ничьих честолюбивых планов. Отвлечемся пока от всех этих соображений и попробуем понять, какой была бы тактика Бауэра в день 18-го Брюмера, и к чему привело бы столкновение Бонапарта с рейхсканцлером: это значительно интереснее, чем может показаться.

Бонапарта нельзя считать только французом восемнадцатого века, в гораздо большей степени это человек современный, бесспорно, куда более современный, чем Капп. Разница между его психологией и психологией Бауэра та же, что между

понятием законности у Примо де Ривера или Пилсудского, то есть любого современного генерала, рвущегося к власти, — и у любого современного министра из мелких буржуа, решившего во что бы то ни стало защитить государство. Чтобы такое рассуждение не показалось необоснованным, следует иметь в виду, что различие между классическим и современным методами захвата власти впервые наглядно проявилось именно в действиях Бонапарта; что переворот 18-го Брюмера — первый переворот, при котором были поставлены вопросы современной революционной тактики. Ошибки Бонапарта, его необъяснимое упрямство, его сомнения — это ошибки, упрямство и сомнения человека восемнадцатого столетия, которому приходится решать новые, трудные задачи, впервые возникшие в такой форме и при таких необычных обстоятельствах: то есть задачи, обусловленные сложнейшей природой современного государства. Самая серьезная ошибка Бонапарта — то, что план переворота основывался на соблюдении законности и механизме парламентской процедуры, свидетельствует о такой обостренной чувствительности к проблемам современного государства, таком тонком понимании опасностей, вызванных многообразием и непрочностью связей между государством и гражданином, — которые превращают его в человека абсолютно современного, европейца наших дней. Несмотря на просчеты в замысле и в исполнении заговора 18-го Брюмера, он остается образцом парламентского переворота: он актуален потому, что эти просчеты в замысле и в исполнении будут неизбежны при любом парламентском перевороте в современной Европе. Здесь мы вновь возвращаемся к Бонапарту и Бауэру, к Примо де Ривера и Пилсудскому.

Во время итальянского похода, среди равнин Ломбардии, Бонапарт готовился к перевороту, изучал примеры Суллы, Катилины, Цезаря. Заговор Катилины не мог представлять для него большого интереса. В сущности, Катилина — неудачник, бунтарствующий политикан, обделенный отвагой и обремененный предрассудками. Но каким удивительным префектом полиции оказался Цицерон! Как ловко он заманил в ловушку Катилину и его сторонников! С каким ошеломляющим цинизмом развернул против заговорщиков то, что мы сейчас назвали бы кампанией в прессе! Как сумел использовать к своей выгоде все ошибки противника, все юридические формальности, все интриги, подлости, амбиции, страхи, низменные страсти патрициев и плебса! В то время Бонапарт часто выказывал глубокое презрение к полицейским мерам: в его глазах Катилина был легкомысленным мятежником, упрямым, но безвольным, с благими намерениями и злым умыслом, революционером, который вечно колеблется в выборе времени, места и средств, не решается в нужный момент выйти на площадь, разрывается между заговором и боями на баррикадах, теряет драгоценное время, выслушивая обвинения Цицерона и организуя избирательную кампанию против «национального блока», — в общем, оклеветанным молвою Гамлетом, жертвой интриг знаменитого адвоката и коварства полиции. Но каков Цицерон, этот бесполезный и в то же время необходимый человек! О нем можно сказать то, что Вольтер сказал о иезуитах: «Pour que les jesuites soient utiles, il faut les empecher d'etre necessaires»³. И хотя в то время Бонапарт презирает

³ «Pour que les jesuites soient utiles, il faut les empecher d'etre necessaires» — «чтобы иезуиты стали полезными, надо помешать им быть необходимыми» (фр.).

полицейские меры, хотя вооруженная акция, организованная полицией, столь же отвратительна ему, как грубая казарменная революция, искусные действия Цицерона восхищают его и заставляют задуматься. Кто знает, быть может, однажды ему понадобится именно такой человек. Бог удачи двулик, словно Янус: у него лицо Цицерона и лицо Катилины.

Как все, кто захватил, или собирается захватить власть путем насилия, Бонапарт боится предстать перед французами кем-то вроде Катилины, человеком, который пойдет на все, лишь бы преуспеть в своих намерениях, вдохновителем темного заговора, безрассудным честолюбцем, преступником, готовым грабить, резать, жечь, решившим победить любой ценой либо погибнуть вместе с врагами под развалинами отечества. Он знает, что настоящий Катилина был непохож на образ, созданный исторической легендой и клеветниками, что обвинения Цицерона были необоснованными, что его речи против Катилины — сплошная ложь, что с юридической точки зрения процесс против Катилины — беззаконие, что в действительности этот преступный бунтовщик — всего лишь посредственный политик, бездарный интриган, малодушный упрямец, от которого полиция легко сумела отделаться с помощью шпионов и провокаторов. Бонапарт знает: самая большая вина Катилины в том, что он не сумел выиграть начатую партию, сообщил всему свету о том, что тайне готовит переворот, но не смог довести дело до конца. Не решился даже попробовать! А ведь возможностей у него хватало: положение в Риме было таково, что правительству не удалось бы справиться с революцией. И если нескольких цицероновых речей и кое-каких полицейских мер оказалось достаточно, чтобы спасти республику, то вина за это лежит не на

одном Цицероне. В сущности, для Катилины все завершилось наилучшим образом: он погиб в бою, как и подобало столь знатному патрицию и столь храброму воину. Но Бонапарт по-своему прав, когда выражает мнение, что не стоило поднимать такой шум, подвергать себя такой опасности и причинять столько вреда, чтобы потом своевременно бежать в горы и встретить смерть, достойную римлянина. Для Катилины, считает он, все могло бы сложиться удачнее.

Основную пищу для размышлений о собственной судьбе Бонапарт черпал в деяниях Суллы и Цезаря, — деяниях, наиболее близких его гению и духу его времени. У него еще не созрели идеи, которые впоследствии приведут его к подготовке и осуществлению государственного переворота 18-го Брюмера. Искусство захвата власти пока еще кажется ему по преимуществу военным искусством: стратегия и тактика войны в применении к политической борьбе, искусство командовать армией на полях гражданских сражений.

В стратегическом плане захвата Рима проявился не политический гений Суллы и Цезаря, а их военный гений. Трудности, которые им пришлось преодолеть, чтобы овладеть Римом, — это трудности исключительно военного характера: они сражались с войсками, а не с парламентами. Было бы ошибкой считать высадку в Брундизии или переход Рубикона началом государственного переворота: эти события имели лишь стратегическое, а не политическое значение. Идет ли речь о Сулле или о Цезаре, Ганнибале или Веллизарии, задачей их армии является захват города, — это задача стратегическая. Их действия — это действия великих полководцев, для которых не осталось секретов в искусстве войны. Нет

сомнений, что военный гений Суллы и Цезаря был значительно выше политического. Кто-то может возразить, что в своих кампаниях, начавшихся высадкой в Брундизии и переходом Рубикона, они выполняют не только стратегическую задачу: каждый маневр их легионов имеет политическую подоплеку. Однако всевозможные хитрости и недомолвки — это приемы, обычные в искусстве войны. Любой полководец, Тюренн, Карл XII или Фош, — это проводник политики своего государства, его стратегия служит государственным политическим интересам. Война всегда имеет политические цели: она лишь один из аспектов государственной политики. История не знает такого полководца, который воевал бы ради самой войны, постигал бы ее искусство ради самого этого искусства: и среди ничтожных, и среди великих полководцев, даже среди кондотьеров не бывает любителей, есть только профессионалы. Джон Хоквуд, английский кондотьер на службе у флорентийской республики, сказал однажды: «Воюют для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умирать». Это не кокетство любителя, не бравада наемника: в этих словах — самое возвышенное определение смысла войны, ее морали. Так могли бы сказать Цезарь, Фридрих Великий, Нельсон, Бонапарт. Понятно, что Сулла и Цезарь преследовали политические цели, когда двинули войска на Рим. Но каждого из них надо судить по его делам. Государственного переворота они не совершали. Какой-нибудь дворцовый заговор гораздо ближе к государственному перевороту, чем знаменитые военные кампании, с помощью которых эти два великих полководца захватили власть над Римом. Сулле понадобился год для того, чтобы с оружием в руках проложить себе дорогу в Рим, то есть для завершения восстания, начавшегося в Брундизии:

это слишком долго для государственного переворота. Но в искусстве войны, как известно, есть свои правила и исключения из правил: именно ими, и только ими руководствовался Сулла. Правилам политики и исключениям из этих правил Сулла и Цезарь стали руководствоваться только после того, как их армии вступили в Рим: и притом чаще исключениями, чем правилами, как это свойственно полководцам, когда они издают новые законы и устанавливают новые порядки в завоеванных городах. В 1797 году, предоставлявшем такие огромные возможности любому нахрапистому генералу, скорее храбрецу, нежели честолюбцу, на равнинах Ломбардии Бонапарт должен был прийти к мысли, что пример Суллы и Цезаря окажется для него роковым. Когда он сравнивал ошибку Гоша, который в видах государственного переворота опрометчиво согласился поступить на службу Директории, с примером Суллы и Цезаря, то ошибка Гоша казалась ему не такой уж опасной. В своем воззвании к солдатам, выпущенном 14 июля, Бонапарт предупреждал клуб Клиши, что Итальянская армия готова перейти Альпы и двинуться на Париж, чтобы обеспечить соблюдение конституции, защитить свободу, правительство и республиканцев. В этих словах чувствуется скорее желание не дать нетерпеливому Гошу опередить себя, чем тайное стремление подражать Цезарю. Считаться другом Директории, но не выступать открыто на ее стороне: вот в чем была проблема в 1797 году; два года спустя, в канун 18-го Брюмера, проблема была в том, чтобы, считаясь другом Директории, открыто выступить на стороне ее противников. Уже начиная с 1797 года в нем мало-помалу зреет мысль, что армия должна стать орудием государственного переворота, но таким орудием, которое притворяется послушным Закону:

вся эта акция с виду должна оставаться в рамках законности. Эта забота о внешнем соблюдении законности — свидетельство того, что выработанная Бонапартом концепция государственного переворота уже далека от классических примеров древности, примеров блестящих, но губительных.

VI

Среди многочисленных персонажей драмы 18-го Брюмера Бонапарт кажется самым неуместным. После возвращения из Египта он только и делает, что суетится, вызывая у людей то восхищение, то ненависть, то подозрения, то смех, он постоянно подвергает ненужному риску себя и свою репутацию. Его промахи начинают всерьез беспокоить Сьейеса и Талейрана: чего хочет Бонапарт? Пусть предоставит действовать другим. Сьейес и Люсьен, брат генерала, все взяли на себя, все рассчитали, вплоть до мелочей. Сьейес, человек мнительный и педантичный, полагает, что государственный переворот нельзя устроить экспромтом, в один день. Нетерпение Бонапарта может привести к беде, говорит Сьейес; равно как и его страсть к риторике, добавляет Талейран. Это ведь не Цезарь, не Кромвель, а просто Наполеон. Если мы хотим сохранить видимость законности, если мы хотим, чтобы государственный переворот не выглядел ни казарменным путчем, ни полицейским заговором, но парламентской революцией, совершившейся при участии Совета старейшин и Совета пятисот, согласно строгой и сложной процедуре, то Бонапарту отныне следует вести себя иначе. Когда победоносный генерал готовится взять власть, опираясь на законы и на силу, он не должен напрашиваться на аплодисменты, не

должен терять время на интриги. Сьейес все предусмотрел, ко всему подготовился заранее: он даже научился ездить верхом на случай триумфа или бегства. А между тем Люсьен, избранный председателем Совета старейшин, предлагает назначить инспекторами зала заседания четырех своих людей. Во время парламентской революции даже привратники становятся важными персонами. И вот теперь инспекторы зала Совета старейшин будут в подчинении у Сьейеса. Чтобы провести заседание обеих палат законодательного собрания за пределами Парижа, в Сен-Клу, нужен какой-то предлог: бунт, якобинский заговор, некая опасность для общества. И президент парламента Сьейес приводит в действие полицейскую машину: предлог найден, полиция якобы раскрыла ужасный якобинский заговор, и всем ясно, что республика в опасности. Поэтому парламент должен собраться в Сен-Клу, где депутатам ничто не угрожает. Все идет по плану.

Теперь и Бонапарт подлаживается к остальным: он ведет себя осмотрительнее, его дипломатия стала менее-наивной, а оптимизм — более осторожным. Постепенно он убедил себя в том, что он — *deus ex machina* всей интриги, и ему достаточно этой убежденности, чтобы быть абсолютно уверенным: все будет так, как нужно ему. Однако ему требуется защита, чтобы уцелеть в лабиринте коварства и козней, и по этому лабиринту его ведет за руку Сьейес. Бонапарт все еще солдат, и только солдат: его политический гений проявится лишь после 18-го Брюмера. Все великие полководцы, будь то Сулла, Цезарь или Бонапарт, во время подготовки и осуществления государственного переворота ведут себя как военные, и только как военные: чем больше они стараются оставаться в рамках законности,

выказывать уважение к государству, тем противозаконнее их действия, тем очевиднее, сколь глубоко они государство презирают. Слезая с коня, чтобы отважиться сделать первые шаги на политическом поприще, они всегда забывают снять шпоры. Все это время Люсьен Бонапарт постоянно наблюдает за братом, анализирует его поступки, с улыбкой, в которой уже чувствуется горечь обиды, читает его потаенные мысли, — и теперь Люсьен, самый влиятельный и самый опасный из заговорщиков, тот, кто в последнюю минуту спасет положение, уверен в брате, как в себе самом. Все готово. Кто смог бы теперь изменить ход событий? Какая сила смогла бы противостоять государственному перевороту?

В основу своего плана Сьейес положил глубоко ошибочный принцип: соблюдение законности как необходимое условие. Вначале он был против того, чтобы переворот не выходил за рамки закона: это означало связывать себе руки, ведь при непредвиденных обстоятельствах может понадобиться революционное насилие. А на дороге, с которой нельзя свернуть, всегда подстерегают опасности. Законодателю Сьейесу, одному из авторов конституции, государственный переворот в рамках закона казался абсурдом. Но Бонапарт непреклонен: ради соблюдения законности он порою даже идет на неоправданный риск. В ночь на 18-го Брюмера, когда Сьейес предупреждает его, что в предместьях беспокойно, и советует предосторожности ради арестовать десятка два депутатов, он отказывается: это было бы беззаконием. Когда Фуше предлагает ему свои услуги, он отвечает, что не нуждается в полиции. Святая простота! Ему достаточно собственного авторитета и славного имени. Однако этот пылкий

генерал, этот высокопарно изъясняющийся воин не знает, как себя вести в царстве незыблемой законности: утром 18-го Брюмера, в Совете старейшин, он забывает свою роль, роль победоносного военачальника, призванного послужить своей шпагой народным избранникам. Он не отдает себе отчета в том, что должен предстать перед депутатами не в облике нового Цезаря, а в ореоле защитника конституции, на которую посягает якобинский заговор. Кто он сегодня? Генерал, по поручению Совета старейшин обеспечивающий переезд законодательного собрания в Сен-Клу. Осторожность требовала, чтобы он держался как второстепенный персонаж в парламентской комедии, главным героем которой является законодательное собрание.

Но когда он, окруженный офицерами в раззолоченных мундирах, выступает перед оробевшим собранием очкастых буржуа, кажется, будто слова ему подсказывает какой-то злой гений. Вся напыщенная риторика, которой он набрался в биографиях Александра и Цезаря, приходит ему на ум и вязнет у него на языке: «Мы хотим республику, основанную на подлинной свободе, на свободе общества, на народном представительстве: и я клянусь вам, у нас будет такая республика!» Офицеры хором повторяют эту клятву. Старейшины взирают на эту сцену в безмолвном ужасе. Сейчас, в этом прирученном парламенте, какой-нибудь депутат, какое-нибудь ничтожество может вдруг потребовать удаления Бонапарта — во имя Свободы, Республики, Конституции, всех этих громких и высокопарных слов, уже утративших смысл, но все еще опасных. Сьейес предвидел подобное осложнение: ночью верные ему инспекторы уничтожили повестки, адресованные

ненадежным депутатам. Однако Бонапарту следует остерегаться маленьких, неприметных людей, которые на вызвали подозрений даже у Сьейеса. И вот некий депутат по имени Гара встает и просит слова: «Никто из этих вояк не упомянул о конституции!» Бонапарт бледнеет, растерянно оборачивается. Но председатель Совета вовремя приходит ему на помощь, он не дает депутату слова, и под крики «Да здравствует республика!» заседание прерывается.

Во время парада, перед войсками, выстроившимися в Тюильрийском саду, Бонапарт срывает с себя маску. После знаменитых слов, громко сказанных депутату Ботто в дверях зала Совета старейшин, его речь, обращенная к солдатам, звучит как угроза и вызов. Теперь он уверен в себе. Фуше настаивает на аресте депутатов-смутьянов. Но Бонапарт отказывается отдать такой приказ: это было бы неоправданной крайностью, ведь сейчас все идет хорошо; еще несколько формальностей — и дело будет сделано. Его оптимизм ясно показывает, насколько он не на месте в этой рискованной игре. На следующий день, 19-го Брюмера, в Сен-Клу, Сьейес отдает себе отчет в допущенных ошибках и начинает испытывать страх, а Бонапарт по-прежнему проявляет такой несокрушимый оптимизм, такую веру в свой авторитет, такое презрение к «адвокатам» из законодательного собрания, что Талейран задается вопросом: что это — безумие или глупость?

Разрабатывая свой план, основанный на видимом соблюдении законности и особенностях парламентской процедуры, Сьейес упустил из виду некоторые незначительные обстоятельства. Чем оправдать то, что законодательное собрание было созвано в Сен-Клу девятнадцатого Брюмера, а не восемнадцатого? Это была ошибка — оставлять

противникам двадцать четыре часа на изучение обстановки и на организацию сопротивления. Чем оправдать то, что девятнадцатого, в Сен-Клу заседание Совета старейшин и Совета пятисот началось не сразу, в полдень, а только в два часа дня? В эти два часа депутаты имели возможность обменяться впечатлениями, догадками, предположениями, договориться о совместных действиях в том случае, если их попытаются одурачить или применят против них насилие. Члены Совета пятисот заявляют, что они пойдут на все: вид солдат, окруживших их со всех сторон, приводит их в негодование; в ярости бродят они по аллеям и лужайкам парка, рассуждая вслух: «Почему мы не остались в Париже? Кто выдумал эту историю с заговором? Пусть назовут имена, пусть предъявят доказательства!». Сьейес, забывший сфабриковать доказательства существования якобинского заговора, смотрит на единомышленников, видит, что многие улыбаются, многие побледнели, а Бонапарт взволнован, встревожен, рассержен и уже начинает понимать, что исход ситуации неясен, что сейчас одно слово, один поступок могут решить все: ах, если бы он послушался Фуше! Но теперь уже поздно, придется положиться на волю случая, ничего другого сделать нельзя. Весьма оригинальная революционная тактика.

В два часа начинается заседание Совета старейшин. С первых же депутатских реплик становится ясно: план Сьейеса под угрозой срыва. Совершенно безобидных мелких буржуа, на которых Сьейес возлагал все надежды, казалось, охватило какое-то священное неистовство: хорошо еще, что в таком шуме никто не может взять слово. Но в Зимнем саду, где заседает Совет пятисот, на председателя, Люсьена Бонапарта, обрушивается лавина обвинений

и угроз. «Все пропало», — решает Сьейес, когда слышит эти крики; побледнев, он направляется к двери — за оградой парка его ожидает карета. Спасаться бегством в карете все-таки удобнее и надежнее, чем верхом на лошади. Предусмотрительный человек не может упустить из виду такое обстоятельство, когда готовит государственный переворот. Но в гостиных на втором этаже, где Бонапарт и его сторонники с нетерпением ждут результатов голосования, не одному только Сьейесу становится не по себе. Если члены верхней палаты не утвердят декрет о роспуске парламента, назначении трех временных консулов и реформе конституции, как поступит Бонапарт? Какие действия предусмотрены на этот случай в плане переворота, разработанном и продуманном Сьейесом вплоть до мельчайших подробностей? Сьейес предусмотрел только бегство в карете.

До сих пор поведение Бонапарта, озабоченного главным образом тем, чтобы соблюсти видимость законности и не выйти за рамки парламентской процедуры, было, говоря современным языком, поведением либерала. С этой точки зрения Бонапарт — основоположник нового направления: все военные, пытавшиеся позднее захватить власть, старались казаться либералами до последнего момента, то есть до того, как прибегнуть к силе. Никогда нельзя доверять либерализму военных, особенно сегодня.

Поняв, что план Сьейеса провалился из-за сопротивления Совета старейшин и Совета пятисот, Бонапарт сразу же принимает решение: он сам, нарушив парламентскую процедуру, явится на заседание. Это опять-таки своеобразная форма либерализма, — либерализма военных, разумеется: своеобразная форма либерального насилия. При

появлении Бонапарта шум в Совете старейшин стихает. И снова, в который уже раз, этого Цезаря, этого Кромвеля подводит риторика: его речь, вначале звучавшая в почтительной тишине, вскоре вызывает неодобрительный ропот. При словах «si je suis un perfide, soyez tous des Brutus»⁴ в глубине зала раздаются смешки. Оратор растерянно замолкает, что-то бормочет, потом продолжает резким голосом: «Souvenez-vous que je marche accompagne du dieu de la guerre et du dieu de la fortune!»⁵ Депутаты вскакивают с мест, обступают трибуну, все смеются. «Генерал, вы уже сами не знаете, что говорите», — шепчет ему на ухо верный Бурьен, схватив его за руку. Бонапарт позволяет увести себя из зала.

Когда немного спустя он с четырьмя гренадерами и несколькими офицерами входит в Зимний сад, члены Совета пятисот встречают его яростным воплем: «Hors la loi! A bas le tyran!»⁶, набрасываются на него, толкают, осыпают оскорблениями. Гренадеры обступают его, заслоняя от ударов, офицеры пытаются выбраться из этой свалки, наконец, Гардан приподнимает его и на себе выносит из зала. Теперь нам не остается ничего, кроме бегства, думает Сьейес; или насилия, говорит своим сторонникам Бонапарт. В Совете пятисот поставлен на голосование декрет, объявляющий генерала вне закона: через несколько минут этот Цезарь, этот Кромвель станет изгоем. Это конец. Вскочив в седло,

⁴ «si je suis un perfide, soyez tous des Brutus» — «Если я коварный властолюбец, пусть каждый из вас станет Брутом» (фр.).

⁵ «Souvenez-vous que je marche accompagne du dieu de la guerre et du dieu de la fortune!» — «Вспомните, что меня сопровождают бог войны и бог удачи!» (фр.).

⁶ «Hors la loi! A bas le tyran!» — «Объявить вне закона! Долой тирана!» (фр.).

Бонапарт показывается солдатам. «К оружию!» — кричит он. Солдаты громко приветствуют его, но не двигаются с места. За эти два славных дня такая сцена повторялась много раз. Без кровинки в лице, дрожа от гнева, Бонапарт оглядывается вокруг: герой Аркольского моста не может поднять в атаку даже батальон. Не подоспей в эту минуту Люсьен, все было бы потеряно. Это Люсьен вдохновляет солдат, быстро и решительно переламывает ход событий, это Мюрат обнажает саблю, приказывает бить в барабан и ведет гренадеров на штурм Совета пятисот.

«General Bonaparte, ce n'est pas correct»⁷, скажет впоследствии Мутрон, вспоминая мертвенную бледность этого Цезаря, этого Кромвеля. Мутрон, которого Редерер назвал Талейраном на коне, на всю жизнь сохранит ощущение, что тогда, в Сен-Клу, этого античного героя в какую-то минуту охватил страх, и что самый незаметный из французов, любой «адвокат» в законодательном собрании, любой маленький человек в эти два славных дня мог одним поступком, одним словом решить судьбу Бонапарта и спасти республику.

«Никогда еще так плохо задуманный государственный переворот не был осуществлен так плохо», — сказал один историк. План Сьейеса, основанный на соблюдении законности и на правилах парламентской процедуры, непременно провалился бы, если бы (Зовет старейшин и Совет десяти сумели воспользоваться ошибкой Сьейеса. Наступательная тактика, которая основана на медлительности парламентской процедуры, обречена на провал. Если бы обе палаты, пригрозив объявить Бонапарта вне закона, не вынудили его ускорить события, забыть о

⁷ «General Bonaparte, ce n'est pas correct» — «Генерал Бонапарт, это неправильно» (фр.).

законности и применить насилие, то государственный переворот увяз бы в неизбежных парламентских проволочках. Оборонительная тактика законодателей должна была бы состоять в том, чтобы стараться выиграть время, затягивая все до бесконечности. К вечеру 19-го Брюмера в Сен-Клу Сьейес понял, наконец, свою ошибку: время работало на законодательное собрание. В каких условиях действовал Бонапарт? В условиях парламентской процедуры. В чем была сила законодателей? В процедуре. А в чем сила парламентской процедуры? В медлительности. Еще час-другой, и заседания палат были бы отложены на следующий день; государственный переворот, уже задержавшийся на сутки, опоздал бы еще на один день; и 20-го Брюмера к открытию заседаний обеих палат у Бонапарта все было бы уже по-другому. Сьейес сознавал это. Согласно его плану, законодатели должны были стать орудием переворота: Бонапарт не мог без них обойтись, они были ему необходимы. Надо было действовать без промедления, не дать отложить заседания на завтра, предотвратить опасность открытого столкновения между законодательным собранием и Бонапартом, между Конституцией и Государственным переворотом: но как это сделать? План Сьейеса и логика Бонапарта исключали применение насилия. И тем не менее надо было ускорить события. Значит, следовало действовать методами убеждения, идти на заседание, говорить с депутатами, чтобы нарушение парламентской процедуры прошло по возможности незаметно. Причина странного поведения Бонапарта кроется в том, что мы назвали его либерализмом.

Но на его счастье, это странное поведение побуждает депутатов совершить непоправимую

ошибку: напасть на него, попытаться объявить его вне закона. Законодатели не поняли, что в борьбе с Бонапартом их сила — в том, чтобы тянуть время, не поддаваться на провокации, положиться на медлительность парламентской процедуры. При всех государственных переворотах тактика катилинариев состоит в том, чтобы торопить события, а тактика защитников государства — в том, чтобы выигрывать время. Промах депутатов поставил Бонапарта перед суровым выбором: либо бегство, либо насилие. Сами того не желая, «адвокаты» из законодательного собрания преподали ему урок революционной тактики.

VII

Пример Бонапарта и Сьейеса, которые, желая захватить власть путем парламентской процедуры, воспользовались армией как законным средством, тем не менее остается весьма соблазнительным для всех тех, кого можно назвать бонапартистами: тех, кто считает возможным совместить применение силы с соблюдением законности, совершить парламентскую революцию силой оружия. В чем заблуждение Каппа? В том, что он решил сыграть роль Сьейеса при генерале фон Лютвице, решил совершить парламентский государственный переворот. Что видится в мечтах Людендорфу, когда он в 1923 году объединяется с Гитлером и Каром для похода на Берлин? Восемнадцатое Брюмера. Каков его объект стратегического значения? Тот же, что у Каппа: рейхстаг и Веймарская конституция. Примо де Ривера обрушивается на кортесы, Пилсудский — на сейм. Даже Ленин в первое время, летом 1917 года, впал в бонапартистскую ересь. Июльское восстание провалилось по разным причинам, но прежде всего

потому, что центральный комитет большевистской партии и сам Ленин, после опыта с первым съездом Советов, были против вооруженного выступления: своим полем битвы они хотели сделать парламент, завоевать большинство в Советах. Ленин, бежавший в Финляндию после июльских событий, вплоть до самого переворота думал только о том, как бы добиться для своей партии большинства на втором съезде Советов, который должен был собраться в октябре; будучи посредственным тактиком, он утверждает, что должен обеспечить себе надежный парламентский тыл, прежде чем дать сигнал к восстанию. «Подобно Дантону и Кромвелю, Ленин — гениальный оппортунист», — заметил однажды Луначарский.

Оппортунизм — первое правило в тактике бонапартистов. Особенность, отличающая ее от тактики левых катилинариев, — это выбор парламента как арены действий, на которой легче всего совместить применение насилия и соблюдение законности. Что и случилось 18-го Брюмера. Как все катилинарии правого толка, бонапартисты — это сторонники порядка, люди консервативных либо реакционных убеждений, которые стремятся к власти, имея целью укрепить авторитет, могущество и славу государства. И Капп, и Примо де Ривера, и даже Гитлер, стремясь оправдать свои бунтарские намерения, говорили, что они не враждуют с государством, а служат ему. Самое страшное для них — быть объявленными вне закона. Случай Бонапарта, побледневшего от ужаса, когда его объявили вне закона, принадлежит революционной традиции, продолжателями которой являются вышеупомянутые политики. Их тактическая задача — завоевать сначала парламент, а потом государство. Только законодательная власть, которую так легко

подтолкнуть к компромиссу и беспринципному сговору, может помочь им увязать свершившийся факт с буквой закона, сделать революционное насилие частью конституционного порядка. Парламент — это необходимый, но не добровольный пособник, и в то же время первая жертва бонапартистского переворота. Либо парламент примиряется со свершившимся фактом и формально легализует его, превращая государственный переворот в простую смену министерства, либо катилинарии распускают парламент, а узаконить революционное насилие поручают вновь избранному законодательному собранию. Но парламент, согласившийся узаконить государственный переворот, подписывает себе смертный приговор: в истории революций не было такой народной ассамблеи, которая не стала бы первой жертвой революционного насилия после того, как согласилась его узаконить. Согласно логике бонапартистов, для укрепления авторитета, мощи и славы государства необходима реформа конституции и ограничение парламентских полномочий. Только конституционная реформа, ограничивающая власть парламента и урезающая гражданские свободы, может стать гарантией законности. Свобода — вот главный враг.

Бонапартистская тактика вынуждена оставаться в рамках законности, чего бы это ни стоило: применение насилия предусмотрено лишь с целью удержаться в этих рамках, либо вновь вернуться в них. Что делает 18-го Брюмера законопослушный Бонапарт, услышав, что его объявили вне закона? Прибегает к насилию, приказывает солдатам очистить Зимний сад, разгоняет избранников народа. Но к вечеру Люсьен, председатель Совета пятисот, спешно собирает несколько десятков депутатов, открывает

новое заседание Совета, и заставляет это жалкое подобие парламента узаконить государственный переворот. Тактику 18-го Брюмера можно применять лишь при взаимодействии с парламентом. Существование парламента — необходимое условие бонапартистского переворота: в абсолютной монархии возможны лишь дворцовые заговоры или военные мятежи. Необходимо заметить, кстати, что бонапартистский переворот не имеет ничего общего с военным мятежом. Для взбунтовавшихся доенных характерно полное пренебрежение к законности. А главное правило бонапартистской тактики — необходимость сочетать применение насилия с соблюдением законности. Дело это тонкое, и доверить его можно лишь дисциплинированным, немногочисленным исполнителям, привыкшим повиноваться своим начальникам и точно, до мелочей, придерживаться установленного плана; а возбужденные, не поддающиеся контролю толпы не следует даже подпускать к революционной акции, которая разворачивается на особом поле, наподобие шахматной доски, где даже неосторожный ход пешкой может привести к непредсказуемым результатам и повлиять на исход партии. Бонапартистская тактика отнюдь не сводится к насилию: главное в ней — ловкость и расчет. Она не имеет ничего общего ни с народным восстанием, где все решает инстинктивная, слепая разрушительная сила масс, ни с военным путчем, где грубость методов сочетается с абсолютным непониманием важности политических и социальных факторов и полным пренебрежением к законности. Скорее она напоминает военные учения или партию в шахматы: у каждого участника есть своя задача и свое место, и все действия продиктованы настойчивым, чисто политическим стремлением

сделать каждого исполнителя пешкой, но не в военной, не в казарменной, а в парламентской игре.

Бонапартистский государственный переворот от всякого другого отличается тем, что на первый взгляд политики играют в нем значительно меньшую роль, чем непосредственные исполнители. Иными словами, кажется, что задумать такой переворот гораздо легче, чем осуществить. Основная, то есть самая заметная часть работы, достается исполнителям. Это льстит самолюбию военных: вот почему именно такой тип переворота наиболее близок им психологически и наиболее заманчив для их честолюбия. Какой-нибудь генерал никогда не сможет понять ни Муссолини, ни Троцкого, ни даже Кромвеля, хотя с его точки зрения Кромвель скорее великий полководец, нежели великий политик, и ему никогда не придет в голову последовать их примеру; зато он прекрасно поймет Каппа, Примо де Ривера, Пилсудского или Бонапарта, и подумает, что при случае смог бы сделать то же, что и они.

Случай Каппа, Примо де Ривера и Пилсудского — очень тревожный знак для либеральной и демократической Европы. Заслонив опасности, которыми чревата современная политическая обстановка, на первый план выдвинулась самая грозная опасность, подстерегавшая Европу в прошлом веке, и, казалось, навсегда исчезнувшая с появлением влиятельных парламентских демократий: опасность генералов.

Ставит ли развитие парламентаризма препону бонапартистским амбициям, или наоборот, прокладывает им дорогу? Важное значение, которое приобрел парламентаризм в демократических странах, безусловно, увеличивает возможность бонапартистского переворота: все возрастающая

парламентаризация современной жизни расширяет базу для применения тактики 18-го Брюмера. Поэтому те, кто считает Англию страной, наиболее подверженной бонапартистской опасности, не так уж неправы. Не следует забывать, что парламент — самая священная из британских традиций и в то же время — основа британской империи; что парламентаризм — важнейший элемент нравственной, политической и общественной жизни в Англии, и что единственная великая революция в этой стране была парламентской революцией. Мы не случайно говорим здесь: «революция», а не «государственный переворот».

Размышляя об опасности, которую несет с собой развитие парламентаризма в плане бонапартистского переворота, нельзя не отметить, что события 18-го Брюмера до сих пор завораживают умы военных. Клемансо говорил, что из учебников по истории для военных академий следовало бы выкинуть главу о 18-ом Брюмера. В этой связи любопытно вспомнить, что в 1919 году Клемансо не скрывал недовольства, которое вызывала у него популярность некоторых генералов. Штреземан, в 1920 году боровшийся с фон Лютвицем, а три года спустя — с Людендорфом, улыбаясь, говорил, что оба эти генерала учились своему делу у Бонапарта. То же самое можно сказать о Примо де Ривера и Пилсудском. Но создается впечатление, что либеральная и демократическая Европа не отдает себе отчета в том, какую опасность представляют для нее генералы. Главный виновник оптимизма, царящего в европейских парламентах, — это бравый генерал Буланже. Правительства европейских стран не верят, что тактику 18-го Брюмера можно применить в условиях современного парламентаризма: в Примо де Ривера и Пилсудском они видят лишь главарей военного мятежа,

использовавших к своей выгоде то, что в Испании и в Польше нет настоящей парламентской демократии. Руководители Европы думают, что парламент — лучшая защита страны от бонапартистского заговора, что свободу можно защитить с помощью свободы и с помощью полицейских мер. Так же думали депутаты испанских кортесов и польского сейма накануне переворотов Примо де Ривера и Пилсудского.

Ошибка парламентских демократий в том, что они слишком полагаются на завоевания свободы, а между тем в Европе нет ничего более непрочного. Объясняется эта ошибка презрением к генералам и убеждением, что для настоящей парламентской демократии опасность 18-го Брюмера не существует, поскольку в Испании и в Польше заговорщики победили только благодаря стечению обстоятельств, которое было бы невозможным во Франции и в Англии, самых парламентских и самых просвещенных государствах Европы. Касательно презрения к генералам нелишне будет заметить, что как раз посредственности в генеральских мундирах представляют наибольшую угрозу и именно их надо опасаться больше всего. Примо де Ривера и Пилсудского нельзя назвать людьми выдающимися: уровень их способностей как военных и как политиков известен слишком хорошо. Впрочем, в их оправдание можно сказать, что и в парламентской Европе полно таких генералов, что многие из них выиграли войну, а многие — проиграли: их посредственность не зависит от их патриотизма. Лучше сразу прояснить этот вопрос.

Касательно опасности восемнадцатого Брюмера и особых условий, сопутствовавших успеху двух самых знаменитых бонапартистов нашего времени, надо признать, что Примо де Ривера и Пилсудскому,

несомненно, было бы гораздо труднее, если бы вместо кортесов и сейма им пришлось иметь дело с палатой общин и французским Национальным собранием. Но мы и так знаем, что кортесы — не палата общин, это признает и подтверждает сам король Альфонс XIII, а польский сейм — не Национальное собрание, что в Испании и в Польше нет парламентской демократии, способной защищать гражданские свободы: нам важно установить, что среди условий, которые позволили Ривера и Пилсудскому захватить власть, главное условие — наличие базы, необходимой для бонапартистской тактики, то есть парламента как такового. Одна из опасностей, угрожающих современному государству, кроется в уязвимости парламентов — всех парламентов, не исключая и палату общин. Полезно будет вспомнить в этой связи, что писал Троцкий о возможности пролетарской революции в Англии: «Будет ли у пролетарской революции в Англии свой Долгий парламент? Очень возможно, что она ограничится Кратким парламентом. И ей это вполне удастся, если она вполне усвоила уроки кромвелевской поры». В дальнейшем мы узнаем, что имел в виду Троцкий под уроками кромвелевской поры.

Было бы неправильно утверждать, что без сговора с королем Примо де Ривера не сумел бы захватить власть, не смог бы распустить кортесы, отменить гражданские свободы, управлять страной помимо конституции, вопреки конституции. Соучастие короля, не будучи необходимым, тем не менее было полезным для Примо де Ривера: только катилинарий в высшем смысле слова, настоящий диктатор, может обойтись без подобного соучастия. Но если так, могут мне возразить, то среди всех обстоятельств, благоприятствовавших Примо де Ривера, решающим

является не наличие парламентской базы, а участие короля.

У этого замечания есть одна слабая сторона. Чтобы стать соучастником Примо де Ривера, король должен был отрешиться от своего привилегированного положения, освобождавшего от ответственности, и опуститься до парламентского уровня. Таким образом, по отношению к Примо де Ривера король был не Сьейесом, не идейным вдохновителем и не *deus ex machina* государственного переворота, а лишь одним из главных его исполнителей, вроде Люсьена Бонапарта. Снизойти до компромисса с заговорщиками монарх может лишь на парламентском уровне: сговор между королем и Примо де Ривера обязательно предполагает наличие парламента. Как все государственные перевороты, которые начинаются с компромисса подобного рода, переворот Альфонса XIII и Примо де Риверы завершается неким двусмысленным соглашением между конституцией и диктатурой. Первой жертвой государственного переворота становится парламент.

Соучастие короля — самая интересная, быть может, единственно интересная деталь в перевороте Примо де Ривера, оно придает этой неудачной аванюре злободневный смысл. После падения диктатора испанские политические партии задаются весьма знаменательным вопросом: «Кто за все ответит?» Вот в чем разгадка падения диктатуры. Пока Примо де Ривера брал на себя всю полноту власти, всю ответственность перед монархией и перед страной, он мог рассчитывать на поддержку короля. А взять на себя всю полноту власти, нести на себе всю ответственность можно было лишь одним способом: управляя страной помимо конституции и вопреки конституции. Но в тот день, когда Альфонс XIII

понимает, что встревоженные испанцы возлагают ответственность за происходящее не на одного только Примо де Риверу, в союз между королем и диктатором вмешивается третье действующее лицо: конституция. Оказавшись перед выбором: диктатура или конституция, король выбирает последнюю, он становится защитником конституции от диктатуры, которую сам же установил, и объединяется с парламентом против государственного переворота. Катилинариям, подобно Меттерниху, надлежит остерегаться конституционных монархов.

Генерал, верный своему королю, может лишь гордиться тем, что слишком поздно понял, как опасно для революционера вступить в союз с конституцией и с ее гарантом. Примо де Ривера не был одним из тех катилинариев, которые не уступают никому и ничему: он был испанским грандом, уступавшим лишь королю.

Из всех переворотов, по типу близких к восемнадцатому Брюмера, интереснее всего, пожалуй, был переворот Пилсудского в мае 1926 года. Пилсудский, которого Ллойд Джордж называл социалистическим Бонапартом (Ллойд Джордж никогда не питал симпатии к генералам-социалистам), показал пример того, как можно поставить Карла Маркса на службу буржуазной диктатуре. Необычная особенность переворота Пилсудского — это участие в нем трудящихся масс. Подлинными исполнителями тактических задач восстания здесь, как и в других случаях, выступали солдаты. Это они взяли под контроль мосты и перекрестки главных улиц, заняли электростанции, варшавскую цитадель, казармы, продовольственные и оружейные склады, железнодорожные вокзалы, телефонные станции, телеграф и банки. Массы не участвовали ни в штурме стратегических пунктов Варшавы, которые защищали

войска, верные правительству Витоша, ни во взятии Бельведера, где укрылись президент республики и министры. И на этот раз на переднем плане была армия, традиционный элемент бонапартистской тактики. Но всеобщая забастовка, которую организовала социалистическая партия, чтобы поддержать Пилсудского, боровшегося с опорой правительства Витоша, — правой коалицией, — всеобщая забастовка была новым, современным элементом восстания, придававшим социальное звучание этому мятежу, этому жестокому военному путчу. Благодаря поддержке рабочих, солдаты Пилсудского превратились в защитников пролетарской свободы; именно всеобщая забастовка, вовлечение трудящихся масс в революционную тактику, превращает этот военный мятеж в народное восстание при поддержке вооруженных сил. Пилсудский, который в начале переворота был всего лишь мятежным генералом, становится вождем народа, пролетарским героем, социалистическим Бонапартом, как сказал бы Ллойд Джордж.

Но одной всеобщей забастовки недостаточно, чтобы Пилсудский мог возвратиться в рамки законности. Он, в свою очередь, тоже боится быть объявленным вне закона. В сущности, этот генерал — обычный гражданин, озабоченный тем, чтобы его замыслы и его дела, сколь угодно дерзкие, все же не выходили за рамки современной гражданской морали и традиций его страны. Этот мятежник хочет перевернуть государство вверх дном, не будучи при этом объявленным вне закона. Пилсудский так ненавидит Витоша, что даже не признает за ним права защищать государство. Сопrotивление верных правительству частей пробуждает в нем литовского поляка, «сумасброда и упряма»: на пулеметы он

отвечает пулеметами. Литовский поляк мешает генералу-социалисту вернуться в рамки законности, воспользоваться выгодными обстоятельствами, чтобы исправить ошибку, допущенную вначале. Нельзя начинать парламентский государственный переворот с безжалостного военного мятежа. «Cela n'est pas correct», сказал бы Мутрон.

Социалистическая партия, организовавшая всеобщую забастовку, — союзник Пилсудского: но ему еще нужно сделать своим союзником маршала сейма. Пилсудский должен прийти к власти, опираясь на конституцию. В то время, как в варшавских предместьях идут бои, исход которых пока неясен, а в Познани генерал Халлер собирается идти на Варшаву, на помощь правительству, в осажденном Бельведере президент Войцеховский и премьер Витош решают, согласно конституции, передать всю власть маршалу сейма. С этого момента гарантом конституции становится не президент республики, а маршал сейма. Парламентский государственный переворот только начинается: до сих пор это был просто военный мятеж, сопровождаемый всеобщей забастовкой. Впоследствии Пилсудский скажет, что, если бы Войцеховский и Витош дождались прихода верных правительству сил, то восстание скорее всего потерпело бы неудачу. Именно поспешное решение президента и Витоша превратило мятеж Пилсудского в парламентский государственный переворот. Теперь возвращение Пилсудского в рамки законности всецело зависит от маршала сейма. «Я не хочу устанавливать диктатуру, — заявляет Пилсудский, едва почувствовав под ногами почву парламентаризма, — я хочу лишь действовать согласно конституции в целях укрепления авторитета, мощи и славы государства». Как все правые катилинарии, захватившие власть силой, он

стремится лишь к одному: казаться верным слугой государства.

И въезжает он в Варшаву, как настоящий слуга государства: в карете, запряженной четверкой, в сопровождении эскадрона улан, сияющих от радости. Толпа, выстроившаяся вдоль улиц Краковского предместья, встречает его криками: «Да здравствует Пилсудский! Да здравствует республика!» Маршалу сейма будет нетрудно прийти к соглашению с Пилсудским насчет конституции: «Теперь, когда революция кончилась, — думает глава парламента, — мы сможем договориться». Но парламентский государственный переворот только начинался; и по сей день, после событий, которые сделали конституцию послушным орудием диктатуры, а демократическую и пролетарскую Польшу — врагом генерала-социалиста, после стольких обретенных и потерянных союзников и стольких разочарований Пилсудский все еще не нашел средства примирить насилие с законностью.

В тысяча девятьсот двадцать шестом году парламентский государственный переворот Пилсудского только начинался: сегодня этот государственный переворот пока еще рано называть удавшимся.

VIII

Если Ленин — стратег большевистской революции, то Троцкий — тактик государственного переворота в октябре 1917 года. Когда в начале 1929 года я был в России, мне довелось беседовать с коммунистами всех оттенков, принадлежавшими к самым разным слоям общества, о роли Троцкого в революции. Официальная позиция СССР в отношении

Троцкого выработана Сталиным; но сплошь и рядом, особенно в Москве и Ленинграде, где троцкистская партия наиболее влиятельна, я слышал мнения, не очень-то совпадающие с мнением Сталина. Единственным человеком, который не стал отвечать на мои вопросы, был Луначарский, а единственным человеком, который обоснованно подтвердил сталинскую версию, была мадам Каменева: что не может не вызвать удивления, если учесть, что мадам Каменева — родная сестра Троцкого.

Не мое дело вмешиваться в спор между Сталиным и Троцким о «перманентной революции» и о роли Троцкого в октябрьском перевороте. Сталин отрицает, что именно Троцкий был организатором восстания, и все заслуги приписывает партийному военно-революционному центру, членами которого были Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот центр, куда не входили ни Ленин, ни Троцкий, был частью военно-революционного комитета, возглавляемого Троцким. Ленин — стратег, идеолог, вдохновитель, homo ex machina большевистской революции: но создатель техники большевистского государственного переворота — Троцкий.

Коммунистическая опасность, с которой должны бороться правительства современной Европы, заключается не в стратегии Ленина, а в тактике Троцкого. Нельзя разобратся в ленинской стратегии, не зная общей ситуации в России в 1917 году. Но тактика Троцкого не связана с какими-либо особенностями страны, применение этой тактики не обусловлено теми обстоятельствами, которые обуславливают применение ленинской стратегии: тактика Троцкого представляет собой перманентную угрозу коммунистического переворота для каждой

европейской страны. Иными словами, применить ленинскую стратегию в какой-нибудь западноевропейской стране можно только в том случае, если для этого существует удобная почва, и при тех благоприятных обстоятельствах, какие были в России 1917 года. Сам Ленин в «Детской болезни «левизны» в коммунизме» отмечает, что оригинальность политической ситуации в России объяснялась четырьмя специфическими условиями, которых в Западной Европе теперь нет, и повторение таких, или подобных, условий не слишком легко. Сейчас не стоит перечислять эти специфические условия, благоприятствующие применению ленинской стратегии в Западной Европе: всем известно, в чем заключалась оригинальность политической ситуации в России по сравнению с другими странами. Следовательно, ленинская стратегия не представляет собой прямой угрозы для правительств европейских стран: явная, перманентная угроза, нависшая над странами Европы, заключена в тактике Троцкого. В своей работе «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» Сталин пишет, что при оценке событий, произошедших в Германии осенью 1923 года, не надо забывать об особом положении России в 1917 году. «Об этом следовало бы вспомнить товарищу Троцкому, который не видит никакой разницы между октябрьской революцией и революцией в Германии и безжалостно осуждает немецких коммунистов за их действительные и мнимые ошибки». По мнению Сталина, немецкая революция 1923 года потерпела неудачу из-за отсутствия особых условий, необходимых для применения ленинской стратегии; его удивляет, как Троцкий может возлагать вину за эту неудачу на немецких коммунистов. Но в глазах Троцкого успех восстания вовсе не зависит от наличия

таких же, или сходных, условий, какие были в России в 1917 году. Революция в Германии потерпела неудачу не потому, что оказалось невозможным применить стратегию Ленина. Непростительная ошибка немецких коммунистов в том, что они не применили большевистскую тактику восстания. На тактику Троцкого не влияют ни благоприятные или неблагоприятные обстоятельства, ни общая ситуация в стране. Поэтому оправдать немецких коммунистов, проваливших восстание, невозможно.

После смерти Ленина Троцкий впал в великую ересь, попытавшись расколоть единую доктрину ленинизма. Протестантизм Троцкого постигла несчастливая судьба: сам этот новый Лютер пребывает в изгнании, а те из его сторонников, кто не имел неосторожности покаяться слишком поздно, поспешили официально покаяться слишком рано. Но в России нередко еще встречаются еретики, которые не утратили склонностей к критике, и ухитряются выводить из сталинской версии восстания самые неожиданные умозаключения. Логика Сталина навела их на мысль, что без Керенского не может быть Ленина, поскольку именно Керенский был одной из главных составляющих той исключительной ситуации, которая сложилась в России в 1917 году. А вот Троцкому Керенский не нужен: присутствие Керенского, равно как и Штреземана, Ллойд Джорджа, Джолитти или Макдональда не может ни помочь, ни помешать применению тактики Троцкого. Представьте на месте Керенского Пуанкаре: октябрьский переворот все равно свершился бы. Я даже встречал в Москве и Ленинграде сторонников еретической теории «перманентной революции», которые утверждали, будто Троцкий не нуждается в Ленине, будто и без Ленина может быть Троцкий. Это все равно что

сказать, будто в октябре 1917 года Троцкий сумел бы захватить власть даже в том случае, если бы Ленин остался в Швейцарии и не принял бы никакого участия в русской революции.

Это весьма смелое утверждение, однако назвать его необоснованным смогут лишь те, кто преувеличивает важность стратегии в революции по сравнению с тактикой: в революционной тактике важна техника государственного переворота. В коммунистической революции стратегия Ленина не является необходимой базой для применения революционной тактики: сама по себе стратегия не может обеспечить захват власти. В Италии в 1919 и 1920 годах ленинскую стратегию применили во всей ее полноте: в то время Италия больше всех других европейских стран созрела для коммунистической революции. Все было готово для государственного переворота. Но итальянские коммунисты думали, что революционная ситуация в стране, возмущение и брожение в пролетарских массах, эпидемия всеобщих забастовок, паралич экономической и политической жизни, захват рабочими фабрик, а крестьянами — помещичьих земель, развал армии, полиции и государственного аппарата, коррупция чиновничества, пассивность буржуазии, бессилие правительства, — условия, более чем достаточные для того, чтобы власть могла перейти к представителям трудящихся. Парламент был под контролем левых: парламентская борьба сопровождалась революционной борьбой профсоюзов. Стремление захватить власть было велико, но недоставало знания революционной тактики. Революция истощала сама себя в стратегии. Это была подготовка к решающему штурму: но как провести этот штурм, никто не знал. В конце концов важный фактор, препятствующий революционному

выступлению, усмотрели в монархии, которая тогда называлась социалистической монархией. Левое большинство в парламенте было обеспокоено действиями профсоюзов, которые могли привести к захвату власти помимо парламента и даже против воли парламента. Профсоюзные организации с недоверием относились к парламентской борьбе, имевшей целью свести пролетарскую революцию к простой смене министерств, выгодной для мелкой буржуазии. Как организовать государственный переворот? Такова была проблема в 1919-1920 годах не только в Италии, но почти во всех странах Западной Европы.

У Троцкого есть очень ясное и четкое представление о том, как решить эту проблему. По его мнению, тактика повстанцев вовсе не зависит от условий в стране и от наличия революционной ситуации, благоприятствующей восстанию. Применить тактику октября 1917 года в России, управляемой Керенским, было ничуть не легче, нежели, скажем, в Голландии или в Швейцарии. Четыре специфических условия, перечисленные Лениным в «Детской болезни «левизны» в коммунизме» (возможность соединить большевистский переворот с окончанием империалистской войны; возможность использовать на известное время борьбу между двумя группами держав, которые в ином случае могли бы объединиться против большевистской революции; возможность выдержать сравнительно долгую гражданскую войну, отчасти благодаря гигантским размерам страны, отчасти благодаря плохому состоянию средств сообщения; наличие буржуазно-демократического революционного движения в крестьянстве), как характерные для положения в России в 1917 году, не являются

необходимыми условиями для успеха коммунистического переворота. Если бы тактика большевистского восстания зависела бы от тех же условий и обстоятельств, от которых зависит ленинская стратегия и пролетарское революционное движение в странах Западной Европы, то коммунистическая опасность не нависала бы сейчас над каждой европейской страной.

Стратегическая концепция Ленина была далека от реальности: ей недоставало точности и расчета. Ленин понимал революционную стратегию на манер Клаузевица: скорее как своего рода философию, нежели как искусство или науку. После смерти Ленина среди его настольных книг было найдено фундаментальное сочинение Клаузевица «О войне» с ленинскими пометками: по этим пометкам, а также по записям на полях книги Маркса «Гражданская война во Франции», можно судить о том, насколько обоснованным было неверие Троцкого в стратегический гений Ленина. Непонятно, по каким причинам, если только не в порядке борьбы с троцкизмом, в России официально придается такое значение ленинской революционной стратегии. Та историческая роль, которую Ленин сыграл в революции, не дает оснований называть его великим стратегом.

В канун октябрьского восстания Ленин полон оптимизма и нетерпения. После избрания Троцкого на пост председателя петроградского совета и военно-революционного комитета, а также завоевания большинства в московском совете унялась, наконец, тревога, мучившая Ленина еще с июльских событий из-за того, что его партия никак не могла добиться большинства в Советах. И все же его немного тревожил второй съезд Советов, назначенный на

октябрь. «Нам необязательно быть в большинстве на съезде, — говорит Троцкий, — ведь не это большинство будет захватывать власть». По сути, Троцкий прав. «Да, — соглашается Ленин, — было бы наивно рассчитывать на формальное большинство». Ленину хотелось бы поднять против правительства Керенского массы, затопить Россию волной пролетарского гнева, дать сигнал к восстанию всему русскому народу, самому явиться на съезд Советов, принудить к повиновению меньшевиков Дана и Скобелева, лидеров большинства в Советах, сообщить о падении правительства Керенского и об установлении пролетарской диктатуры. Для него существует лишь революционная стратегия, а тактика восстания ему недоступна.

— Прекрасно, — говорит Троцкий, — но первым делом надо захватить город, занять стратегические пункты, свергнуть правительство. Для этого нужно организовать восстание, сформировать и подготовить ударные части. Они не должны быть многочисленными: массовость нам ни к чему, достаточно и небольшого отряда.

Но Ленин не желает, чтобы большевистское восстание упрекали в бланкизме:

— Нет, — говорит он, — восстание должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании и отличается марксизм от бланкизма.

— Прекрасно, — говорит Троцкий, — но весь

народ — это чересчур много для восстания. Нужен небольшой отряд хладнокровных, решительных бойцов, овладевших революционной тактикой. — Быть может, Троцкий прав.

— Мы должны всю нашу фракцию, — говорит Ленин, — двинуть на заводы и в казармы: там ее место, там нерв жизни, там источник спасения революции. Там должны мы в горячих, страстных речах разъяснить нашу программу и ставить вопрос так: либо полное принятие нашей программы, либо восстание.

— Прекрасно, — говорит Троцкий, — но даже если массы примут нашу программу, все равно надо будет организовывать восстание. На заводах, на фабриках, в казармах надо будет набрать надежных, смелых людей. Тут требуется не масса рабочих, дезертиров и беженцев, а ударный отряд.

— А чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, то есть как к искусству, — продолжает Ленин, — мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города. Мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы.

— Прекрасно, — говорит Троцкий, — но...

— Это все примерно, конечно, — продолжает

Ленин, — лишь для иллюстрации того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, не относясь к восстанию, как к искусству. Вам известны основные правила этого искусства, сформулированные Марксом. В применении к России и к октябрю 1917 года эти правила означают следующее: одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего флота, скопление гигантского перевеса сил над 20 тысячами юнкеров и казаков, которыми располагает правительство. Комбинировать наши три главные силы — флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и любой ценой удержаны телефон, телеграф, железнодорожные станции, мосты. Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях. Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения «центров» врага (юнкерские школы, телеграф и телефон). Успех и русской и всемирной революции зависит от двух-трех дней борьбы.

— Все это совершенно правильно, но чересчур сложно, — говорит Троцкий. — План слишком обширен, стратегия охватывает слишком большое пространство и слишком много людей. Чтобы добиться успеха, не нужно ни опасаться неблагоприятных обстоятельств, ни полагаться на обстоятельства благоприятные. Нужно соблюдать тактику, действовать на ограниченном пространстве небольшим числом людей, сосредоточить усилия на главных

направлениях, ударить точно и сильно, не поднимая шума. Восстание — это бесшумная машина. Ваша стратегия нуждается во множестве благоприятных обстоятельств: а восстание не нуждается ни в чем: оно самодостаточно.

— Ваша тактика очень проста, — отвечает Ленин, — у нее лишь одно правило: победить. Не вы ли предпочитаете Наполеона Керенскому?

Слова, приписываемые мной Ленину, не вымышлены: все их можно найти в письмах, которые он направлял центральному комитету большевистской партии в октябре 1917 года.⁸

Люди, знающие все труды Ленина, в особенности его заметки о технике декабрьского восстания в Москве в 1905 году, будут поражены наивностью его представлений о тактике и технике восстания в канун октября 1917 года. Тем не менее надо признать, что после июльского поражения только он, наряду с Троцким, не потерял из виду главную цель революционной стратегии: государственный переворот. После некоторых колебаний (в июле у большевистской партии была лишь одна цель: добиться большинства в Советах) идея восстания сделалась, как сказал Луначарский, мотором всей деятельности Ленина. Но во время вынужденного пребывания в Финляндии, куда он укрылся после июльских событий, чтобы не попасть в руки Керенского, он мог заниматься лишь теоретической подготовкой восстания. Только этим можно объяснить его наивный план военного наступления на Петроград при поддержке красногвардейцев изнутри. Это

⁸ Автор почти дословно цитирует отрывки из письма Ленина от 13 – 14 сентября 1917 г., озаглавленного «Марксизм и восстание», и статьи «Советы постороннего», написанной 8 октября 1917 г.

наступление окончилось бы катастрофой: провал ленинской стратегии привел бы к провалу тактики восстания и к массовой гибели красногвардейцев на улицах Петрограда.

Ленину поневоле приходилось наблюдать за событиями издали, и он не мог детально рассмотреть ситуацию: но основные черты революции он видел гораздо яснее, чем некоторые члены центрального комитета партии, выступавшие против немедленного вооруженного восстания. Упустить момент было бы преступлением, писал Ленин партийным комитетам Петрограда и Москвы. И хотя на заседании 10 октября, при участии вернувшегося из Финляндии Ленина, центральный комитет подавляющим большинством (против были только двое: Каменев и Зиновьев) принял резолюцию о восстании, кое-кто в центральном комитете все еще был не согласен с этим. Каменев и Зиновьев были единственными, кто открыто высказался против немедленного вооруженного восстания, но их мнение втайне разделяли многие. Враждебность тех, кто в душе не одобрял решение Ленина, обращалась в основном против Троцкого, «антипатичного Троцкого», новичка в большевистской партии, чья горделивая отвага уже вызывала ревнивое беспокойство у старой ленинской гвардии.

Ленин в те дни скрывался в одном из петроградских предместий и, не теряя из виду общую политическую ситуацию, внимательно следил за интригами противников Троцкого. В тот момент какие бы то ни было колебания могли оказаться роковыми для революции. В письме центральному комитету от 17 октября Ленин самым решительным образом отвергал нападки Каменева и Зиновьева, главной целью которых было выявить ошибки Троцкого. «Вез

участия масс, — утверждали они, — без всеобщей забастовки это будет не восстание, а попытка мятежа, обреченная на провал. Тактика Троцкого — это бланкизм. Марксистская партия не может низвести восстание до уровня военного заговора».

В письме от 17 октября Ленин защищает Троцкого и его тактику от обвинений в бланкизме. Военный заговор — это чистый бланкизм, если только он не организован партией определенного класса, если его организаторы не учитывают особенности положения в политике вообще, и в международной политике в частности. Существует огромная разница между искусством вооруженного восстания и военным переворотом, достойным порицания со всех точек зрения. Но на это Каменев и Зиновьев сразу же могли бы возразить: разве Троцкий не утверждал всегда, что восстание не должно учитывать политическую и экономическую ситуацию в стране? Разве не заявлял, что всеобщая забастовка — один из основных элементов техники коммунистического переворота? Как можно рассчитывать на поддержку профсоюзов, на объявление всеобщей забастовки, если профсоюзы будут заодно не с нами, а с нашими противниками? Они обернут всеобщую забастовку против нас. У нас даже нет твердой договоренности с железнодорожниками. Из сорока членов исполнительного комитета профсоюза железнодорожников только двое — большевики. Можно ли победить без поддержки профсоюзов, без помощи всеобщей забастовки?

Это очень веское замечание, и Ленин не может противопоставить ему ничего, кроме своего незыблемого решения. Но Троцкий улыбается, он спокоен: «Восстание — это не искусство, — говорит он, — восстание — это машина. Чтобы завести ее,

нужны специалисты-техники: и ничто не сможет ее остановить, даже замечания оппонентов. Остановить ее смогут только техники».

IX

Ударные части Троцкого насчитывают около тысячи рабочих, солдат и матросов. Лучшие силы в этих частях были набраны на Путиловском и Выборгском заводах, из моряков Балтийского флота и латышских стрелков. В течение десяти дней эта красная гвардия под командованием Антонова-Овсеенко проводит «невидимые» тренировки в центре города. На фоне толпы дезертиров, запрудившей улицы, на фоне хаоса, царящего в правительственных учреждениях, в министерствах, в генеральном штабе, на почтамте, на телефонных станциях и телеграфе, на вокзалах и в казармах, в руководстве всеми техническими службами города, никто не замечает этих безоружных людей, которые небольшими группами, по три-четыре человека, среди бела дня отрабатывают тактику восстания. Тактика «невидимых тренировок», обучения повстанческим боевым действиям, впервые использованная Троцким в канун октябрьского переворота, теперь стала частью стратегии Третьего Интернационала. Правила Троцкого изложены и развиты в учебной литературе Коминтерна. Среди прочих дисциплин в китайском университете в Москве преподают и тактику «невидимых тренировок», которую так успешно использовал в Шанхае Бородин, опираясь на опыт Троцкого. В Москве, на улице Волхонка, в университете Сунь Ятсена китайские студенты изучают принципы, которые коммунистические организации Германии применяют

на практике каждое воскресенье, отрабатывая повстанческую тактику прямо под носом у полиции и благонамеренных бюргеров Берлина, Дрездена и Гамбурга.

В октябре 1917 года, накануне переворота, реакционная, либеральная, меньшевистская и эсеровская печать без устали твердит русскому обществу о том, что партия большевиков открыто готовит восстание: Ленина и Троцкого обвиняют в намерении свергнуть демократическую республику и установить диктатуру пролетариата. Они не делают секрета из своих преступных планов, пишут буржуазные газеты; подготовка к пролетарской революции ведется на глазах у всех; вожди большевиков, выступая на заводах и в казармах перед рабочими и солдатами, заявляют во всеуслышание, что все готово, что день восстания уже близок. Куда смотрит правительство? Почему Ленин, Троцкий и остальные члены центрального комитета партии до сих пор не арестованы? Какие меры принимаются для защиты России от большевистской опасности?

Неправда, что правительство Керенского не приняло необходимых мер для защиты государства. Надо отдать справедливость Керенскому: он сделал для предотвращения государственного переворота все, что было в его силах; окажись на его месте Пуанкаре, Ллойд Джордж, Макдональд, Джолитти или Штреземан, — они действовали бы точно так же. Оборонительные действия Керенского сводятся к системе полицейских мер, к которой прибегали всегда и продолжают прибегать до сих пор как абсолютистские, так и либеральные правительства. Несправедливо обвинять Керенского в непредусмотрительности и некомпетентности: все дело в том, что для защиты государства от

современной повстанческой техники одних полицейских мер уже недостаточно. Ошибка Керенского — это ошибка, которую совершают все правительства, рассматривающие проблему защиты государства как проблему полицейских мер.

Те, кто обвиняет Керенского в непредусмотрительности и некомпетентности, забывают, какое политическое мастерство и какое мужество он проявил в июле 1917 года, когда подавил восстание солдат и дезертиров, и в августе, когда сорвал реакционную авантюру Корнилова. В последнем случае он решился даже обратиться за помощью к большевикам, чтобы не дать корниловским казакам уничтожить демократические завоевания февральской революции. Тогда действия Керенского поразили самого Ленина, сказавшего: «Надо опасаться Керенского, он не дурак». Будем справедливы к Керенскому: в октябре, защищая государство от большевистского восстания, он мог действовать только так, как действовал, и не иначе. Троцкий утверждал, что в деле защиты государства главное — это правильно выбрать систему. Керенский, Ллойд Джордж, Пуанкаре, Носке, — все они в октябре могли бы прибегнуть лишь к одной системе защиты: классической системе полицейских мер.

Перед лицом грозящей опасности Керенский приказывает верным правительству военным частям — юнкерам и казакам — взять под контроль Зимний дворец, Таврический дворец, министерства, телефонные станции и телеграф, мосты, вокзалы, здание Генерального штаба, перекрестки самых оживленных центральных улиц. Таким образом, двадцать тысяч человек, которыми он располагает в столице, будут заняты охраной стратегических точек в политической и административной структуре

государства. Именно этой ошибкой и воспользуется Троцкий. Другие верные Керенскому военные части сосредоточены в окрестностях Петрограда, в Царском Селе, в Колпине, Гатчине, в Обухове, в Пулковке: большевистскому восстанию придется разорвать это железное кольцо, либо задохнуться в нем. Приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность правительства: отряды юнкеров прочесывают город днем и ночью. На перекрестках, в начале и в конце всех важнейших городских артерий, у въездов на площади, на крышах домов по Невскому проспекту установлены пулеметы. В толпе то и дело попадаются солдатские патрули. Медленно проезжают броневики, прокладывая себе дорогу долгим завыванием сирен. Кругом царит ужасающий хаос. «Вот моя всеобщая забастовка», — говорит Троцкий Антонову-Овсеенко, показывая ему людской водоворот на Невском проспекте. Но Керенский не ограничился одними полицейскими мерами. Он привел в действие весь политический механизм. Он не собирается цепляться за одних лишь правых политиков: он хочет во что бы то ни стало заручиться поддержкой левых сил. У него вызывает тревогу позиция профсоюзов. Он знает, что руководители профсоюзов не поддерживают большевиков. В этом отношении критика, которой Каменев и Зиновьев подвергли ленинскую теорию восстания и тактику Троцкого, была справедлива. Всеобщая забастовка — неотъемлемая часть восстания: если большевики не смогут опереться на всеобщую забастовку, они будут недостаточно защищены с тыла и потерпят поражение. Говоря об этом, Троцкий как-то назвал восстание «ударом, нанесенным паралитику». Для победы восстания необходимо, чтобы жизнь в Петрограде была парализована всеобщей забастовкой.

Руководители профсоюзов не поддерживают большевиков, однако организованные массы трудящихся склоняются на сторону Ленина. Керенский не может воздействовать на массы, поэтому он хочет привлечь на свою сторону профсоюзных вожаков. С большим трудом он добивается от них обещания соблюдать нейтралитет. Когда Ленин узнает о нейтралитете профсоюзных организаций, то говорит Троцкому:

— Каменев был прав: без опоры на всеобщую забастовку ваша тактика обречена на провал.

— Мой союзник — хаос, — отвечает Троцкий, — а это больше, чем всеобщая забастовка.

Чтобы понять план Троцкого, надо представить себе, каким был в те дни Петроград. Громадные толпы дезертиров, еще в первые дни февральской революции бежавших с фронта и заполонивших столицу, словно с целью разграбить это царство свободы, так и жили с тех пор на улицах и площадях, грязные, оборванные, жалкие, пьяные и голодные, боязливые и безжалостные, готовые взбунтоваться и готовые бежать, с жадной мести и жадной мира в душе. Нескончаемыми рядами сидят они на тротуарах Невского проспекта, по сторонам людского потока, медленно движущегося по широкой, шумной улице, продают оружие, пропагандистскую литературу, сигареты, семена подсолнечника. На Знаменской площади, перед Московским вокзалом, царит невероятная сумятица: толпа колышется, ударяется о стены, откатывается назад, словно беря разбег, с истошными воплями валит вперед, разбивается, как прибой, о телеги, грузовики, трамваи, стоящие у памятника Александру III, и гвалт стоит такой, что издали кажется, будто на площади кого-то режут. На углу Невского и Литейного продавцы газет

выкрикивают последние новости: о мерах, принимаемых Керенским для выхода из сложившейся ситуации, призывы военно-революционного комитета, Петросовета, городской думы, приказы военного коменданта полковника Полковникова, в которых он угрожает дезертирам арестом, запрещает демонстрации, митинги и уличные стычки. По углам улиц группами собираются рабочие, солдаты, студенты, служащие, матросы, громко спорят, размахивают руками. В кафе и в столовых все обсуждают воззвания Полковникова, который намерен арестовать двести тысяч дезертиров, находящихся в Петрограде, и запретить уличные стычки. Перед Зимним дворцом стоят две батареи семидесятипятимиллиметровых орудий: возле них нервно шагают взад-вперед юнкера в длинных шинелях. Перед зданием генерального штаба в два ряда стоят военные автомобили. Возле Адмиралтейства, в Александровском саду, разместился женский батальон; его бойцы сидят на земле вокруг составленных вместе винтовок.

Мариинская площадь заполнена людьми: рабочими, матросами, бледными, изможденными дезертирами в лохмотьях; вход в Мариинский дворец, где заседает совет республики, охраняют казаки в высоких черных меховых шапках, сдвинутых на ухо. Казаки курят, оживленно переговариваются, смеются. Если бы кто-нибудь поднялся на купол Исаакиевского собора, то на западе он увидел бы густые клубы черного дыма из труб Путиловского завода, где рабочие уже готовятся заряжать ружья. Подальше — Финский залив и остров Котлин, на котором стоит крепость Кронштадт, красный Кронштадт, где матросы с ясными, как у детей, глазами ждут сигнала Дыбенко, чтобы отправиться на подмогу Троцкому, на бой с

юнкерами. На другом конце города дым от множества заводских труб сливается в красноватый туман: это Выборгская сторона, где скрывается Ленин, бледный, лихорадочно возбужденный, в парике, придающем ему сходство с мелким провинциальным актером. Никто не смог бы узнать в этом безбородом субъекте с торчащими надо лбом накладными волосами грозного Ленина, перед которым трепещет вся Россия. Именно там, на заводах Выборгской стороны, сформированные Троцким отряды красногвардейцев ждут приказов Антонова-Овсеенко. На окраинах у женщин печальные лица, но твердый взгляд; с наступлением сумерек группы женщин с оружием направляются к центру города. В эти дни петроградский пролетариат кочует: огромные массы людей пересекают весь город из конца в конец, потом возвращаются в свои районы после долгих часов, проведенных на митингах, демонстрациях, в уличных потасовках. Вся власть Советам! Охрипшие голоса ораторов поглощаются складками алых знамен. На крышах домов сидят с пулеметами солдаты Керенского; они слушают эти охрипшие голоса, едят семечки и бросают шелуху на толпу.

Ночь опускается на город как зловещая туча. На Невском проспекте толпа дезертиров отхлынула в сторону Адмиралтейства. У Казанского собора расположились под открытым небом сотни солдат, женщин и рабочих. Город во власти тревоги, хаоса, безумия. С минуты на минуту из толпы выйдут пьяные от бессонницы люди и бросятся с ножами на патруль юнкеров, на женский батальон, охраняющий Зимний дворец; другие вломятся в дома к буржуа, которые лежат в постели с открытыми глазами. Лихорадка восстания изгнала из города сон. Петроград, словно леди Макбет, больше не может уснуть. По ночам его

преследует запах крови.

В течение десяти дней, в центре города, красногвардейцы Троцкого методично проводили тренировки по тактике восстания. Среди бела дня, среди шума и сумятицы на улицах и площадях, вблизи величественных зданий, где сосредоточены центры управления бюрократической и политической машиной государства, под руководством Антонова-Овсеенко идут тактические учения, своего рода генеральная репетиция государственного переворота. Полиция и военное командование так боятся внезапного бунта пролетарских масс, так поглощены борьбой с этой угрозой, что не замечают самого существования отрядов Антонова-Овсеенко. Да и кто в такой чудовищной неразберихе обратил бы внимание на небольшие группы безоружных рабочих, солдат, матросов, которые заходят на телефонные станции и телеграфы, на почтамт, в министерства, в генеральный штаб, изучают расположение кабинетов, распределительных щитов, коммутаторов, запоминают планы зданий, чтобы в нужный момент можно было проникнуть туда внезапно, просчитывают возможные варианты, оценивают трудности, стараются найти в защитной оболочке технико-бюрократическо-военной машины государства изъяны, бреши, слабые места? Кому среди общего развала показались бы подозрительными трое-четверо матросов, двое солдат, смирный с виду рабочий, которые расхаживают вокруг правительственных зданий, углубляются в коридоры, поднимаются по лестницам и, встречаясь, не смотрят друг на друга? Никому бы не пришло в голову, что все эти люди выполняют чьи-то точные, подробные приказы, действуют по заранее разработанному плану, отрабатывают приемы тактики, нацеленной на стратегические пункты обороны государства. Эти

невидимые учения разворачиваются на том же поле, где произойдет решающий бой. Красная гвардия ударит без промаха.

Троцкому удалось раздобыть план городских коммуникаций: матросам Дыбенко, с помощью двух инженеров и двух рабочих-специалистов, поручено изучить расположение на местности газовых и водопроводных труб, электрических подстанций, телефонных и телеграфных кабелей. Двое матросов обследуют канализационный колодец под зданием генерального штаба. Необходимо суметь за считанные минуты отрезать от мира целый квартал, или всего несколько домов. Троцкий разделяет город на сектора, намечает стратегические пункты, и направляет с заданием в каждый сектор команды, состоящие из солдат и рабочих-специалистов. Рядом с солдатами должны быть техники. Захват Московского вокзала поручен двум командам, состоящим из двадцати пяти латышских стрелков, двух матросов и десяти железнодорожников; три команды, составленные из матросов, рабочих и железнодорожников, общей численностью в шестьдесят человек, получают задание захватить Варшавский вокзал; на другие вокзалы Дыбенко рассчитывает послать команды по двадцать человек каждая. Чтобы контролировать движение по железной дороге, каждой команде придан телеграфист. Двадцать первого октября под непосредственным руководством Антонова-Овсеенко, который неотрывно наблюдает за тренировками, все команды отрабатывают захват вокзалов: эта генеральная репетиция проводится с безукоризненной четкостью и ритмичностью. В тот же день трое матросов приходят на электростанцию, которая находится у въезда на территорию порта: на электростанции,

подчиняющейся городскому управлению технических служб, нет охраны. «Вас прислал командующий военным округом? — спрашивает у матросов начальник электростанции. — Пять дней назад он обещал обеспечить нам охрану, и с тех пор я все жду». Трое матросов остаются на электростанции, чтобы, как они утверждают, защищать ее от красногвардейцев в случае восстания. Таким же образом другие команды матросов берут под контроль остальные три электростанции.

Полиция Керенского и военные власти прежде всего думают о том, чтобы обезопасить бюрократические и политические структуры государства: министерства, Мариинский дворец, где заседает Совет республики, Таврический дворец, где заседает дума, Зимний дворец, Генеральный штаб. Троцкий, своевременно заметивший эту ошибку, выбирает целью своей тактики лишь техническое обеспечение города и государства. Для Троцкого проблема революции — это лишь проблема технического порядка. «Чтобы захватить современное государство, — говорит он, — нужны ударные военные части и техники: отряды вооруженных людей под командованием инженеров».

Х

В то время, как Троцкий рационально организует государственный переворот, центральный комитет большевистской партии организует пролетарскую революцию. Военно-революционный партийный центр, куда входят Сталин, Свердлов, Бубнов, Урицкий и Дзержинский, почти все заклятые враги Троцкого, разрабатывает план всенародного восстания. Члены этого центра, — им, и только им Сталин с 1927 года

будет приписывать организацию октябрьского переворота, — совершенно не верят в то, что планы Троцкого могут увенчаться успехом. Чего он сможет добиться со своей тысячей бойцов? Юнкера справятся с ними в два счета. Против правительственных войск надо поднимать пролетарские массы, десятки тысяч рабочих «Путилова» и Выборгской стороны, громадную толпу дезертиров, солдат петроградского гарнизона, перешедших на сторону большевиков. Надо поднять всенародное восстание: а Троцкий со своими авантюрами — союзник бесполезный и опасный.

Как и для Керенского, для партийного центра революция — это проблема полиции. Любопытно отметить, что в состав центра входит будущий создатель большевистской полиции, ВЧК, позднее переименованной в ГПУ. Именно он, бледный и жутковатый Дзержинский, изучает систему защитных мер Керенского и разрабатывает план наступления. Из всех противников Троцкого это самый коварный и самый страшный. В своем фанатизме он стыдлив, как женщина; это аскет, который никогда не смотрит на собственные руки. Он умер в 1926 году, прямо на трибуне, когда произносил обличительную речь против Троцкого.

Накануне государственного переворота, когда Троцкий говорит Дзержинскому, что красногвардейцы должны забыть о существовании правительства Керенского, что речь идет не о том, чтобы обстрелять правительство из пулеметов, а о том, чтобы овладеть государством, что Совет республики, министерства, дума не имеют никакого значения с точки зрения повстанческой тактики и не должны быть мишенью для вооруженного восстания, что ключ к государству — это не его политические и бюрократические

структуры, не Таврический дворец, не Мариинский дворец и не Зимний, а его техническое обеспечение, электростанции, железные дороги, телефонные и телеграфные линии, порт, газовые сети, водопровод, он отвечает, что восстание должно быть нацелено на противника, должно атаковать его на его же позициях. «Защитник государства — это правительство, — говорит Дзержинский, — поэтому наша атака должна быть направлена именно на правительство. Надо разбить врага на том же поле битвы, на котором он защищает государство. Если враг окопался в министерствах, в Мариинском дворце, в Таврическом дворце и в Зимнем, значит, надо идти за ним туда. «Чтобы взять власть, — говорит в заключение Дзержинский, — мы двинем на правительство народные массы».

У партийного центра, разрабатывающего тактику восстания, вызывает беспокойство нейтральная позиция, которую заняли профсоюзы. Можно ли взять власть, не опираясь на всеобщую забастовку? «Нет, — отвечают центральный комитет партии большевиков и партийный центр по руководству восстанием, — мы должны спровоцировать забастовку, чтобы вовлечь массы в революционную борьбу. Но для этого мы должны применить не тактику вооруженных вылазок, а тактику всенародного восстания: так мы сумеем вовлечь массы в борьбу с правительством и вызвать всеобщую забастовку». «Необязательно провоцировать забастовку, — говорит Троцкий, — чудовищный хаос, который царит в Петрограде, — это сильнее забастовки. Этот хаос, парализующий государство, мешает правительству принять меры против восстания. Раз мы не можем опереться на забастовку, давайте опираться на хаос». Мы уже говорили, что центр отвергал тактику Троцкого,

поскольку считал, что в ее основе лежит слишком оптимистичная оценка ситуации. На самом же деле Троцкий был скорее пессимистом, он считал существующее положение гораздо более сложным, чем казалось на первый взгляд: он не доверял массам, ему было хорошо известно, что восстание может полагаться лишь на меньшинство. Идея вовлечь широкие массы в вооруженную борьбу с правительством, спровоцировав этим всеобщую забастовку, была всего лишь иллюзией, потому что в повстанческой борьбе примет участие только меньшинство. Троцкий был убежден в том, что, если всеобщая забастовка начнется, то она будет направлена против большевиков, и власть нужно брать без промедления, чтобы не допустить начала забастовки. Развитие событий показало, что Троцкий был прав. Когда железнодорожники, служащие почт, телеграфа и телефонных станций, сотрудники министерств и общественных учреждений прекратили работу, было уже поздно. Ленин уже был у власти, и Троцкий сломал хребет забастовке.

Из-за неприятия партийным центром тактики Троцкого в канун решающих событий сложилась парадоксальная ситуация, которая могла всерьез помешать успеху восстания. Налицо были два генеральных штаба, два плана действий, две стратегические задачи. Партийный центр, опиравшийся на массы рабочих и дезертиров, хотел свергнуть правительство, чтобы взять власть. Троцкий, опиравшийся на тысячу бойцов, хотел взять власть, чтобы свергнуть правительство. Маркс рассудил бы, что условия более благоприятствуют планам центра, нежели планам Троцкого. «Восстание не нуждается в благоприятных условиях», — утверждал Троцкий. На стороне партийного центра

был Ленин, на стороне Троцкого — Керенский.

Двадцать четвертого октября, не дожидаясь темноты, Троцкий бросается в атаку. План операций до мельчайших подробностей продуман бывшим офицером царской армии Антоновым-Овсеенко, который в одинаковой степени известен как революционер и политический ссыльный, и как математик и шахматист. Ленин говорит об Антонове-Овсеенко, намекая на тактику Троцкого, что только шахматист мог организовать восстание. У Антонова-Овсеенко грустный, болезненный вид: падающие на плечи длинные волосы придают ему сходство с некоторыми портретами Бонапарта до 18-го Брюмера. Но взгляд у него безжизненный, а на бледном, исхудалом лице проступает печаль, нездоровая, как холодный пот.

В маленькой комнате на последнем этаже Смольного, главного штаба большевиков, Антонов-Овсеенко разыгрывает шахматную партию на топографической карте Петрограда. Этажом ниже собрался на заседание партийный центр, чтобы окончательно определить дату всенародного восстания: они не знают, что Троцкий уже начал действовать. Только Ленину он в последний момент дал знать о своем неожиданном решении. Центр точно следовал указаниям Ленина; все должно было начаться 25 октября. Разве Ленин не сказал, что 24-ого будет слишком рано, а 26-ого — слишком поздно? Но едва партийный центр успел собраться, как пришел Подвойский с поразительным известием: красногвардейцы Троцкого уже захватили центральный телеграф и мосты через Неву (контроль над мостами необходим, чтобы обеспечить сообщение между центром города и рабочим районом — Выборгской стороной). Городские электростанции,

газораспределители, железнодорожные вокзалы уже заняты матросами Дыбенко. Все это было сделано с необычайной четкостью и быстротой. Центральный телеграф охраняли полсотни жандармов и солдат, выстроившихся в шеренгу перед зданием. Эта оборонительная тактика, так называемая «охрана и обеспечение порядка», — яркое свидетельство бесполезности полицейских мер: она может дать хорошие результаты, если надо оттеснить взбунтовавшуюся толпу, но отнюдь не горстку решительных бойцов. Полицейские меры бессильны против вооруженной вылазки. Три дыбенковских матроса, прошедших «невидимые тренировки» и успевших изучить план здания, незаметно смешиваются с рядами защитников, проникают в здание: несколько ручных гранат, брошенных из окон на улицу, вызывают замешательство среди жандармов и солдат. Две команды матросов занимают позиции на центральном телеграфе, размещают пулеметы; третья команда располагается в противоположном доме, чтобы в случае контратаки стрелять в спину атакующим. Связь между командами, действующими в различных частях города, а также между Смольным и захваченными стратегическими объектами осуществляют броневики. В домах, выходящих на перекрестки важнейших улиц, установлены пулеметы; казармы воинских частей, оставшихся верными Керенскому, находятся под наблюдением разъездных патрулей.

В шесть часов вечера, в Смольном, Антонов-Овсеенко заходит в кабинет Троцкого: он еще бледнее, чем обычно, но улыбается. «Дело сделано», — говорит он. Члены правительства, которых происшедшие события застали врасплох, укрылись в Зимнем дворце, находящемся под охраной нескольких

рот юнкеров и женского батальона. Керенский скрылся: говорят, он отправился на фронт, чтобы собрать там верные ему силы и двинуться с ними на Петроград. Весь город высыпал на улицы, желая поскорее узнать о происходящем. Работают магазины, кафе, рестораны, кинематографы, театры, проезжают трамваи, переполненные солдатами и вооруженными рабочими, громадная толпа, словно река, катится по Невскому проспекту, все рассуждают, спорят, поносят правительство или большевиков, самые невероятные слухи передаются из уст в уста, из квартала в квартал: Керенский убит, руководители фракции меньшевиков расстреляны перед Таврическим дворцом, Ленин переехал в Зимний дворец и занял царские апартаменты. По Невскому, Гороховой и Вознесенскому проспекту, трем артериям, ведущим к Адмиралтейству, людской поток стремится к Александровскому саду, чтобы увидеть, вправду ли над Зимним дворцом уже развевается красный флаг. Однако при виде юнкеров, охраняющих дворец, толпа в удивлении останавливается и, оставаясь на безопасном расстоянии от пушек и пулеметов, недоуменно разглядывает освещенные окна, безлюдную Дворцовую площадь, автомобили, выстроившиеся в цепочку у здания Генерального штаба. А Ленин? Где же Ленин? Где большевики?

Реакционеры, либералы, меньшевики и эсеры, еще не успевшие осознать происходящее, отказываются верить, что правительство свергнуто. Это все лживые слухи, которые распространяют провокаторы из Смольного. Министры собрались в Зимнем дворце исключительно по соображениям безопасности. Если полученные сведения соответствуют действительности, то произошел не государственный переворот, а несколько более или

менее удавшихся (на этот момент ничего еще в точности не известно) покушений на государственные и городские службы технического обеспечения. Вся законодательная, политическая и административная власть по-прежнему в руках Керенского. Никто не пытался штурмовать Таврический дворец, Мариинский дворец и министерства. Ситуация, конечно, парадоксальная: никогда еще не бывало, чтобы восставшие объявляли о захвате власти и при этом оставляли правительству полную свободу действий. Такое впечатление, что большевики забыли о правительстве. Почему они не захватывают министерства? Разве можно подчинить себе государство, разве можно управлять Россией, не имея под рукой административных рычагов? Да, большевики захватили всю техническую структуру города: но Керенский не свергнут, вся власть у него, даже если он на какое-то время утратил контроль над железными дорогами, электростанциями, газовой сетью, коммунальным обслуживанием, телефоном, телеграфом, почтамтом, Государственным банком, угольными складами, нефте- и зернохранилищами. На это можно было бы возразить, что министры, собравшиеся в Зимнем дворце, практически уже не в состоянии управлять, а министерства — не в состоянии работать: правительство отрезано от остальной России, все средства связи находятся в руках большевиков. Все выезды из города перекрыты, даже Генеральный штаб изолирован от внешнего мира. Петропавловская крепость захвачена большевиками. Полки, несущие охрану города, один за другим переходят в подчинение военно-революционного комитета. Надо действовать без промедления: за чем же дело? Генеральный штаб ждет генерала Корнилова, который ведет войска на

столицу. Все необходимые для защиты правительства меры приняты. Если большевики до сих пор не решились атаковать правительство, это свидетельствует о том, что они еще не чувствуют себя достаточно сильными. А значит, можно подождать.

Однако на следующий день, 25 октября, в то время как в актовом зале Смольного открывается Второй съезд Советов, Троцкий приказывает Антонову-Овсеенко штурмовать Зимний дворец, где укрылись министры Керенского. Получит ли фракция большевиков большинство на съезде? Чтобы представители Советов со всей России уверовали в победу восстания, недостаточно объявить им, что большевики захватили власть в государстве: надо иметь возможность объявить, что члены правительства арестованы красногвардейцами.

— Это единственная возможность убедить центральный комитет партии и военно-революционный центр в том, что переворот не провалился, — говорит Троцкий Ленину.

— Поздновато вы на это решились, — замечает Ленин.

— Я не мог атаковать правительство, пока не был уверен в том, что войска петроградского гарнизона не станут на его защиту. Надо было дать солдатам время перейти на нашу сторону. Теперь у правительства остались только юнкера.

Ленин, переодевшись рабочим, в парике и без бороды, вышел из своего убежища и отправился в Смольный на съезд Советов. Это самая тяжелая минута в его жизни: он еще не верит в успех восстания. Ему тоже, как и центральному комитету, как и военно-революционному центру, как и большинству делегатов съезда, необходимо узнать о падении правительства и об аресте министров, чтобы

поверить в успех переворота. Троцкий с его высокомерием, твердостью, отвагой и ловкостью внушает ему опасения. Ведь Троцкий не принадлежит к старой большевистской гвардии, к тем, на кого можно положиться безоговорочно: это новоиспеченный большевик, вступивший в партийные ряды лишь после июльских событий. «Я не один из двенадцати апостолов, — говорит Троцкий, — скорее я святой Павел, который первым стал проповедовать язычникам».

Ленин никогда не питал особой симпатии к Троцкому, чье ораторское мастерство вызывало у всех подозрения. Он обладает опасной властью возбуждать массы и провоцировать беспорядки, он создает разногласия, впадает в идейные ошибки. Это опасный человек, но обойтись без него нельзя. Ленин давно уже подметил у Троцкого склонность к историческим параллелям: на митингах, рабочих собраниях, во время партийных дискуссий он то и дело приводит примеры, относящиеся к пуританской революции Кромвеля или к Великой французской революции. Нельзя доверять марксисту, который дает оценку людям и событиям большевистской революции, сравнивая их с людьми и событиями французской революции. Ленин не забыл, как Троцкий, выйдя из Крестов, куда он попал после июльских событий, тут же отправился в Петросовет и произнес там речь о необходимости введения якобинского террора. «Гильотина прокладывает дорогу Наполеону!» — крикнули меньшевики. «Лучше Наполеон, чем Керенский», — ответил Троцкий. Ленин никогда не забудет этот ответ. «Он предпочитает Ленину Наполеона», — скажет позднее Дзержинский. В небольшой комнате, смежной с актовым залом Смольного, где заседает съезд Советов, Ленин сел

рядом с Троцким за стол, заваленный документами и газетами: вихор от парика свисает ему на лоб. При виде этого забавного маскарада Троцкий не может сдержать улыбку. Ему кажется, что парик пора уже снять: опасность миновала, восстание победило, и Ленин стал хозяином России. Теперь можно снова отпустить бороду, сбросить накладные волосы, — Ленина должны узнать в лицо. Дан и Скобелев, руководители фракции меньшевиков, имеющей большинство на съезде, встретившись с Лениным у входа в зал, бледнеют и переглядываются: в этом человеке, нахлобучившем парик, похожем на мелкого провинциального актера, они узнают грозного разрушителя Святой Руси. «Все кончено», — шепчет Скобелеву Дан.

— Почему вы никак не разгримитесь? — спрашивает у Ленина Троцкий. — Победителям не пристало прятаться. — Ленин, прищурившись, с легкой иронической улыбкой глядит на Троцкого. Кто здесь победитель? В этом весь вопрос. То и дело слышатся пушечные выстрелы, треск пулеметов. Крейсер «Аврора», стоящий на якоре у берега Невы, стреляет по Зимнему дворцу, чтобы поддержать штурм. В эту минуту в комнату входит матрос Дыбенко, голубоглазый великан с пушистой белокурой бородой, от которой выражение его лица кажется мягче.

Кронштадтские моряки и госпожа Коллонтай любят его за детски-простодушные голубые глаза и за жестокость. Красногвардейцы Антонова-Овсеенко ворвались в Зимний дворец, министры Керенского захвачены большевиками: правительство свергнуто. «Наконец-то!» — восклицает Ленин. «Вы опоздали на двадцать четыре часа», — говорит Троцкий Дыбенко.

Ленин снимает парик, проводит рукой по лбу.

Его голова, рассказывает Герберт Уэллс, формой напоминала голову лорда Бальфура. «Идемте», — говорит он, направляясь в зал. Троцкий следует за Лениным молча, с утомленным видом, — его вдруг начало клонить в сон, не знающие усталости глаза слипаются. Во время восстания, пишет Луначарский, Троцкий был словно наэлектризован. Но вот уже и правительство свергнуто: Ленин снял парик тем же движением руки, каким снимают маску. Государственный переворот — это Троцкий. Но государство — это сейчас Ленин. Вождь, диктатор, победитель — это он, Ленин.

— У меня кружится голова, — говорит по-немецки Ленин. — *Es schwindelt*.

Троцкий молча следует за ним с загадочной улыбкой на губах, которая смягчится лишь со смертью Ленина.

XI

Сталин — единственный государственный деятель Европы, который сумел извлечь урок из октябрьских событий 1917 года. Если коммунисты всех европейских стран должны учиться у Троцкого искусству захвата власти, то либеральные и демократические правительства должны учиться у Сталина искусству защищать государство от повстанческой тактики коммунистов, то есть от тактики Троцкого.

Борьба Сталина и Троцкого — самый поучительный эпизод в политической истории Европы последних лет. Официально предпосылки этой борьбы относят к периоду, задолго предшествовавшему октябрьской революции 1917 года, — к тому времени, когда Троцкий, после партийного съезда в Лондоне в

1903 году, где окончательно определился раскол между Лениным и Мартовым, между большевиками и меньшевиками, открыто выразил несогласие с идеями Ленина и, хоть и не примкнул к сторонникам Мартова, но все же оказался гораздо ближе к меньшевистскому кредо, чем к большевистскому. Но на самом деле и личные разногласия, и теоретические расхождения прошлых лет, и необходимость отстаивать толкование наследия Ленина от троцкистской опасности, то есть нежелание впасть в уклон, допустить искажения или ересь, — все это лишь предлог, официальные оправдания конфликта, корни и подлинные причины которого следует искать в психологии большевистских вождей, в умонастроениях и интересах рабочих и крестьянских масс, в политической, экономической и социальной обстановке в Советской России после смерти Ленина.

История борьбы Сталина с Троцким — это история попытки Троцкого захватить власть и защиты государства Сталиным вместе со старой большевистской гвардией: это история неудавшегося государственного переворота. Теории «перманентной революции» Троцкого Сталин противопоставляет ленинский тезис о диктатуре пролетариата. Враждующие группировки углубляются в дебри схоластики, заклиная друг друга именем Ленина. Но за всеми интригами, дискуссиями, софизмами кроются события куда более серьезные, нежели перебранки на почве толкования ленинизма.

Дело в том, что на карту поставлена власть. Вопрос о преемнике Ленина, вставший задолго до его смерти, с появлением первых симптомов его болезни, это вопрос не только идей, но и людей. За теоретическими спорами скрываются личные амбиции. Не стоит принимать на веру официальные версии о

причинах дискуссий: задача Троцкого как полемиста — показать себя бескорыстным защитником морального и интеллектуального наследия Ленина, хранителем принципов октябрьской революции, неустрашимым коммунистом, который борется против бюрократического перерождения партии и обуржуазивания Советского государства; задача Сталина как полемиста — скрыть от коммунистов других стран и от капиталистической, демократической и либеральной Европы подлинные причины борьбы, разворачивающейся внутри партии между учениками Ленина, между виднейшими деятелями Советской России. На самом же деле Троцкий думает о захвате государственной власти, а Сталин — о том, как государство защитить.

Сталину совершенно несвойственны такие качества русских, как апатия, ленивое непротивление добру и злу, туманный, бунтарский и вредоносный альтруизм, наивная и жестокая доброта. Сталин не русский, он грузин: его хитрость соткана из терпения, воли и здравого смысла; он упрямец и оптимист. Противники обвиняют его в невежестве и недалекости, но они неправы. Нельзя сказать, что это человек образованный, европеец, измученный софизмами и духовными озарениями: Сталин — варвар в том смысле, в каком понимал это слово Ленин, то есть враг западной культуры, психологии и морали. Его ум — ум чисто рефлекторный, инстинктивный, первобытный, лишенный каких бы то ни было предрассудков культурного или нравственного свойства. Говорят, о человеке можно судить по его походке. Во время Всероссийского съезда советов в мае 1929 года в Москве, в Большом театре, я видел, как Сталин вышел на сцену; я сидел в оркестровой яме, под самой рампой. Сталин появился из-за спин

народных комиссаров, членов ЦИК и центрального комитета партии, выстроившихся в два ряда на просцениуме: одет он был очень просто, в серый китель и темные брюки, заправленные в высокие сапоги. Невысокий, широкоплечий, коренастый, на крупной голове шапка черных волос, удлиненные глаза казались больше от угольно-черных бровей, лицо утяжеляли колючие черные усы. Сталин шел медленным, тяжелым шагом, стуча каблуками по паркету; слегка наклоненная голова, руки, опущенные вдоль туловища, делали его похожим на крестьянина, но крестьянина-горца, сурового, упорного, терпеливого и осмотрительного. При его появлении в зале раздался восторженный рев, но он даже не повернулся в ту сторону, он неторопливо шел дальше, занял место позади Рыкова и Калинина, поднял голову, посмотрел на приветствовавшую его громадную толпу и остался стоять все так же бесстрастно, ссутулившись, пристально глядя перед собой непроницаемым взглядом. Лишь человек двадцать депутатов, представителей советских автономных республик Башкирии, Бурятии, Монголии, Дагестана и Якутии, сидевшие в литерной ложе, были немые и неподвижные: одетые в желтые с зеленым шелковые халаты, в остроконечных, шитых серебром татарских шапках на длинных, ниспадающих на плечи блестящих черных волосах, они смотрели своими маленькими раскосыми глазками на Сталина: перед ними был диктатор, железный кулак революции, смертельный враг Запада, враг цивилизованной Европы, разжиревшей и буржуазной. Как только восторг толпы стал утихать, Сталин медленно повернул голову к татарским депутатам: взгляд монголов встретился со взглядом диктатора. В театре раздался оглушительный рев: это пролетарская

Россия приветствовала Красную Азию, народы степей, пустынь, великих азиатских рек. Затем Сталин снова обратил невозмутимое лицо к толпе и стоял все такой же ссутулившийся и неподвижный, пристально глядя перед собой непроницаемым взглядом.

Сила Сталина — в его невозмутимости и терпении. Он следит за поведением Троцкого, анализирует его действия, вслед за быстрыми, нервными, неуверенными шагами соперника слышна его медленная, тяжелая крестьянская поступь. Сталин — замкнутый, холодный, упрямый, Троцкий — горделивый, порывистый, эгоистичный, нетерпеливый, весь во власти честолюбия и буйного воображения, натура горячая, дерзкая и агрессивная. «Жалкий еврей», — говорит о нем Сталин. «Жалкий христианин», — говорит о Сталине Троцкий.

В октябре 1917 года, когда Троцкий, не предупредив центральный комитет и партийный центр по руководству восстанием, вдруг дает сигнал к захвату власти, Сталин отходит в тень. Лишь он один умеет подметить слабые стороны и ошибки Троцкого и предвидеть их далеко идущие последствия. Когда после смерти Ленина Троцкий со всей жесткостью ставит вопрос о наследовании в плане политики, экономики и теории, Сталин уже успел взять под свой контроль бюрократический аппарат партии, забрать в свои руки рычаги управления, уже занял стратегические позиции, регулирующие политическую, экономическую и социальную жизнь государства. Троцкий обвинял Сталина в том, что тот задолго до смерти Ленина попытался решить вопрос о наследовании в свою пользу, — и это обвинение никто не смог бы всерьез опровергнуть. Но ведь Ленин во время болезни сам закрепил за Сталиным привилегированное положение в партии. У Сталина

все козыри на руках, когда в ответ на обвинения противников он утверждает, что должен был предохранить себя от опасностей, которые неизбежно возникли бы после смерти Ленина. «Вы воспользовались его болезнью», — говорит Троцкий. «Чтобы не дать вам воспользоваться его смертью», — говорит Сталин.

Троцкий очень хитро рассказал историю своей борьбы со Сталиным. В этом рассказе ничто не выдает подлинной сути их борьбы, автору явно не хочется выглядеть в глазах русского, тем паче мирового, пролетариата таким большевистским Катилиной, готовым на любые авантюры, вплоть до реставрации. По его утверждению, его так называемая ересь — всего лишь попытка ленинистского толкования ленинской доктрины. Никакого троцкизма на самом деле не существует: это выдумка противников Троцкого, желающих противопоставить троцкизм ленинизму, живого Троцкого — мертвому Ленину. Его теория «перманентной революции» не представляет угрозы ни для идейного единства партии, ни для безопасности государства. Он не хочет, чтобы его принимали за Лютера или за Бонапарта.

У Троцкого, как и у Сталина, исторические изыскания имеют чисто полемическую подоплеку. Словно сговорившись, как один, так и другой селятся представить этапы борьбы за власть как аспекты идейной борьбы, борьбы за истолкование ленинской мысли. В сущности, обвинение в бонапартизме никогда не было предъявлено Троцкому официально. Такое обвинение показало бы мировому пролетариату, что русская революция катится по наклонной плоскости буржуазного вырождения, одним из характернейших признаков которого является бонапартизм. «Теория «перманентной революции», —

пишет Сталин в предисловии к небольшой работе «К Октябрю», — это разновидность меньшевизма». Вот к чему сводится обвинение против Троцкого. Но если мировой пролетариат легко было обмануть относительно подлинной сущности борьбы между Сталиным и Троцким, то скрыть действительное положение дел от русского народа было невозможно. Все понимали, что в лице Троцкого Сталин обличал не меньшевика-доктринера, заплутавшего в дебрях интерпретации ленинских идей, а красного Бонапарта, единственного человека, способного превратить смерть Ленина в государственный переворот, перевести проблему наследования на язык восстания.

С начала 1924 года по конец 1925 года борьба протекает в рамках полемики между сторонниками «перманентной революции» и официальными хранителями ленинизма, теми, кого Троцкий называет «хранителями ленинской мумии». Троцкий как народный комиссар обороны, имеет на своей стороне армию, а также профсоюзные организации во главе с Томским, который выступает против сталинского плана подчинить профсоюзы партии и защищает автономию профсоюзного движения в его отношениях с государством. Возможность блокирования Красной армии с профсоюзными организациями беспокоила еще Ленина, начиная с 1920 года; после его смерти союз между Троцким и Томским превратился в единый фронт солдат и рабочих, выступавший против мелкобуржуазного и крестьянского вырождения революции, против того, что Троцкий называл сталинским Термидором. Сталин, на стороне которого — ПТУ, партийная и государственная бюрократия, усматривает в этом рабоче-солдатском фронте нарождающуюся опасность 18-го Брюмера. Огромная популярность Троцкого, слава его победоносных

кампаний против Юденича, Колчака, Деникина, Врангеля, страстность его полемики, его циничное и бесстрашное высокомерие превращают его в этакое красного Бонапарта, пользующегося поддержкой армии, рабочих масс и задорных молодых коммунистов, настроенных против старой гвардии ленинизма и высшего партийного духовенства.

Знаменитая «тройка», Сталин, Зиновьев и Каменев, пускает в ход самые изощренные приемы притворства, интриги и обмана, чтобы скомпрометировать Троцкого в глазах масс, спровоцировать разлад между его союзниками, посеять сомнения и недовольство в рядах его сторонников, возбудить недоверчивое, подозрительное отношение к его словам, поступкам, намерениям. Глава ГПУ, фанатик Дзержинский, окружает Троцкого сетью шпионов и провокаторов; вся таинственная и устрашающая машина ГПУ приведена в действие для того, чтобы одно за другим подрезать сухожилия врагу. Дзержинский действует в темноте, Троцкий — при свете дня. В то время как «тройка» покушается на его авторитет, подрывает его популярность, тщится представить его разочарованным честолюбцем, торгашом от революции, предателем усопшего Ленина, Троцкий с ожесточением набрасывается на Сталина, Зиновьева и Каменева, на центральный комитет, на старую гвардию ленинизма, на партийную бюрократию, предупреждает об опасности мелкобуржуазного и крестьянского Термидора, призывает молодых коммунистов сплотиться и выступить против тирании высшего революционного духовенства. «Тройка» отвечает на это беспощадной клеветнической кампанией: приказам Сталина повинуются вся официальная пресса. Постепенно вокруг Троцкого

образуется пустота. Самые слабые начинают колебаться, отходят в сторону, прячут голову под крыло; самые стойкие, самые пылкие, самые отважные сражаются с высоко поднятой головой, каждый за себя, отдаляются друг от друга, перестают друг другу доверять, зажмурились, бросаются на штурм вражеской коалиции, запутываются в сети интриг, лжи и предательства. Солдаты и рабочие, для которых Троцкий — создатель Красной армии, победитель Колчака и Врангеля, защитник свобод профсоюзов и рабочей диктатуры от нэповской и крестьянской реакции, остаются верны герою и идеям октябрьского восстания, но их верность пассивна, ожидание парализует ее, и она становится балластом в напористой, жесткой игре Троцкого.

На первых этапах борьбы Троцкий питал иллюзии, что ему удастся вызвать раскол в партии: при поддержке армии и профсоюзов он рассчитывал свергнуть «тройку» Сталина, Зиновьева и Каменева, предупредить сталинский Термидор 18-ым Брюмера «перманентной революции», стать властелином партии и государства, чтобы осуществить свою программу всеобъемлющего коммунизма. Но одних речей, памфлетов, споров об истолковании ленинской мысли было недостаточно, чтобы вызвать раскол в партии. Надо было действовать. Троцкому оставалось только выбрать подходящий момент. Обстоятельства благоприятствовали его планам. Между Сталиным, Зиновьевым и Каменевым уже намечались разногласия. Почему же Троцкий не перешел к действию?

Вместо того, чтобы действовать, перейти от полемики к революционным акциям, Троцкий терял время на изучение политической и социальной обстановки в Англии, на беседы с английским

рабочими о том, каких правил им следует придерживаться при захвате власти, на поиски аналогий между пуританским воинством Кромвеля и Красной армией, на установление сходства между Лениным, Кромвелем, Робеспьером, Наполеоном и Муссолини. «Ленина нельзя сравнить ни с Бонапартом, ни с Муссолини, но можно сравнить с Кромвелем и Робеспьером, — писал Троцкий. — Ленин — это пролетарский Кромвель XX века. Такое определение — высшая похвала мелкобуржуазному Кромвелю XVII века». Вместо того, чтобы без промедления применить против Сталина свою тактику октября 1917 года, он усердно инструктировал экипажи, моряков, канониров, механиков, электриков британского флота, как им следует помогать рабочим при захвате власти; он анализировал психологию английских солдат и моряков, чтобы определить, как они поведут себя, получив приказ стрелять по рабочим, он разбирал механизм восстания, чтобы продемонстрировать в замедленном темпе движения солдата, отказывающегося стрелять, колеблющегося солдата и того, кто готов разрядить ружье в своего товарища, не выполнившего приказ: вот три основных процесса в работе этого механизма. Который из них решит исход восстания? Он думал лишь об Англии, уделял больше внимания Макдональду, чем Сталину. «Кромвель организовал не армию, а партию: его армия на самом деле была вооруженной партией, и в этом была его сила». Солдаты Кромвеля на полях сражений заслужили прозвище «Железные Ребра». «Для революции, — добавляет Троцкий, — всегда полезно иметь железные ребра. Тут английским рабочим можно многому научиться у Кромвеля». Но почему же все-таки он не решался действовать? Почему не бросал свои «железные ребра», солдат

Красной армии, в атаку на сторонников Сталина?

Противники пользуются его нерешительностью, они снимают его с поста народного комиссара обороны, лишают его контроля над Красной армией. Через некоторое время Томского отстраняют от руководства профсоюзными организациями. Великий еретик, грозный катилинарий остается безоружным: оба оружия, на которые рассчитывал большевистский Бонапарт, планируя свое 18-е Брюмера, оборачиваются против него. Усилиями ГПУ его популярность постепенно убывает: толпа сторонников, разочарованная его двусмысленным поведением и необъяснимыми проявлениями слабости, постепенно рассеивается. Троцкий заболевает, покидает Москву. Май 1926 года он встречает в берлинской клинике: от известия о всеобщей забастовке в Англии и переворота Пилсудского в Польше у него поднимается температура. Ему необходимо вернуться в Россию, он не должен отказываться от борьбы. Ничто не потеряно до тех пор, пока не потеряно все. В июле 1926 года внезапно умирает создатель ГПУ, жестокий и фанатичный Дзержинский: это происходит на пленуме центрального комитета партии, когда он произносит обвинительную речь против Троцкого. Разлад, с давних пор назревавший внутри «тройки», внезапно прорывается наружу: Каменев и Зиновьев объединяются против Сталина. Вспыхивает борьба между тремя хранителями мумии Ленина. Сталин зовет на подмогу Менжинского, преемника Дзержинского на посту начальника ГПУ; Каменев и Зиновьев переходят на сторону Троцкого.

Пришло время действовать: прилив восстания подходит к стенам Кремля.

XII

Совершенно очевидно, что правительства Европы и по сию пору не извлекли никакого урока из событий 1917 года; чуть не каждый день они демонстрируют полную неспособность обеспечить защиту государства от коммунистической опасности. Чтобы предохранить государство от современной техники восстания, обычных полицейских мер уже недостаточно. В этом плане было бы весьма полезно, если бы европейские правительства, ничему не научившиеся на опыте Керенского, сумели бы извлечь урок из событий 1927 года, то есть из опыта Сталина. Его тактика в 1927 году — классический пример защиты государства, единственная тактика, которую можно успешно применить против коммунистического восстания. Тому, кто хочет защитить буржуазное государство от коммунистической опасности, необходимо изучить тактику Сталина, единственного главы государства в Европе, сумевшего использовать уроки 1917 года.

«Революции не совершаются по нашему произволению, — писал Троцкий по поводу ситуации в Англии, в самом начале своей борьбы со Сталиным, — если бы можно было определить для них какой-то рациональный маршрут, то, очевидно, было бы возможным и избежать их». Как раз Троцкому и довелось определить рациональный маршрут для революционных действий, выработать основы и правила современной тактики восстания; а Сталин, усвоив урок Троцкого, показал правительствам Европы, как обеспечить защиту буржуазного государства от грозного коммунистического восстания.

Швейцария или Голландия, то есть два из наиболее просвещенных и наилучшим образом

устроенных европейских государств, где прочно установившийся порядок — не только результат работы политической и бюрократической машины государства, но и представляет собой неотъемлемую черту народного характера, не представляет для применения коммунистической повстанческой тактики большей трудности, чем Россия при Керенском. На чем основано это парадоксальное утверждение? На том соображении, что вопрос государственного переворота в наше время есть вопрос техники. Восстание — это машина, говорит Троцкий: чтобы привести ее в движение, нужны специалисты-техники, и никто, кроме них, не сможет ее остановить. Приведение в действие этой машины не зависит от общей обстановки в стране, от чрезвычайных обстоятельств, как, например, назревший революционный кризис или воспламененный до неистовства мятежный дух пролетарских масс, неспособность правительства справиться с политическими, социальными и экономическими неурядицами. Восстание совершается не массами, его совершает горстка решительных людей, обученных тактике восстания, умеющих быстро и сокрушительно поражать жизненно важные центры технической структуры государства. Этот отряд захвата должен состоять из групп вооруженных людей, рабочих-специалистов, механиков, электриков, телеграфистов, радистов под командованием инженеров и техников, знающих порядок функционирования технической структуры государства.

В 1923 году на сессии Коминтерна Радек выдвинул предложение: создать в каждой стране Европы специальный корпус для захвата власти. По его мнению, тысяча человек, хорошо обученных и

подготовленных, могли бы захватить власть в любой европейской стране, — как во Франции, так и в Англии, как в Германии, так и в Швейцарии или Испании. Радек нисколько не полагался на революционерские качества зарубежных коммунистов. Критикуя руководителей и методы разных секций Коммунистического Интернационала, он не щадил даже память Розы Люксембург и Либкнехта. В 1920 году, во время наступления Троцкого в Польше, когда Красная армия приближалась к Варшаве, и в Кремле со дня на день ждали известия о падении польской столицы, один только Радек противостоял общему оптимизму. Победа Троцкого во многом зависела от поддержки польских коммунистов. Ленин слепо верил в то, что коммунистическое восстание в Варшаве вспыхнет сразу же, как только красные дойдут до Вислы. Не надо рассчитывать на польских коммунистов, утверждал Радек, они коммунисты, но не революционеры. Спустя некоторое время Ленин говорил Кларе Цеткин: «Радек предвидел то, что произошло потом. Он предупреждал нас. Я всерьез рассердился на него, обозвал пораженцем. Но прав оказался он. Радек лучше нас знает обстановку за пределами России, особенно в западных странах».

Под влиянием польских событий Троцкий стал склоняться к идеям Радека. В нем окрепло убеждение, что коммунисты других стран неспособны захватить власть: это революционеры старой школы, для которых проблема восстания сводилась к проблеме полицейских мер. Их тактика базировалась на старом методе: прямо атаковать правительство, бросить все силы восставших на позиции, охраняемые полицией и войсками, попытаться нейтрализовать центры политической и бюрократической структуры государства, забывая при этом о жизненно важных

центрах его технической структуры. Этот метод, основанный на участии в восстании пролетарских масс, был порожден устаревшим мнением, что оборону противника следует подавлять массовыми действиями, а полицейским мерам противопоставлять революционный порыв народа. «Европейский опыт последних лет, — утверждал Радек, — показывает, что нет ничего легче, чем сломить порыва народа: система полицейских мер — лучшая защита против старых методов западных коммунистов; но она бессильна против быстрых и решительных ударов специального отряда, владеющего техникой октябрьского восстания». Старый метод западных коммунистов был тем самым методом, который центральный комитет и партийный центр по руководству восстанием хотели применить против Керенского в октябре 1917 года.

Предложение Радека организовать в каждой стране Европы специальный отряд для захвата власти встретило у Троцкого решительную поддержку и вызвало ряд конструктивных предложений. Троцкий даже считал необходимым создать в Москве школу технической подготовки коммунистов, которые будут зачислены в состав специального отряда в каждой стране. Эту идею недавно подхватил Гитлер: сейчас он организует подобную школу в Мюнхене для подготовки своих штурмовых отрядов. «Со специальным отрядом в тысячу человек, набранных среди берлинских рабочих и укрепленных русскими коммунистами, — утверждал Троцкий, — я берусь захватить Берлин в двадцать четыре часа». Он не полагался на народный подъем, на участие в восстании пролетарских масс: «вооруженное вмешательство масс необходимо лишь на втором этапе, чтобы отразить ответный удар

контрреволюционеров». И добавлял к этому, что немецкие коммунисты будут терпеть поражение за Поражением от полиции и армии, пока не решатся применить тактику Октября. И Троцкий, и Радек даже разработали детальный план государственного переворота в Берлине. Когда Троцкий в мае 1926 года приехал в Берлин делать операцию на горле, его обвинили в том, что он прибыл для организации коммунистического восстания. Но в 1926 году его уже не волновали революции в других европейских странах: от известия о всеобщей забастовке в Англии и перевороте Пилсудского в Польше его начинает лихорадить, он ускоряет возвращение в Москву. Это была лихорадка великих октябрьских дней, когда, по словам Луначарского, он был словно наэлектризован. Бледный, в лихорадочном жару возвращался Троцкий в Москву, чтобы организовать штурмовой отряд для свержения Сталина и захвата власти.

Но Сталин сумел извлечь урок из октябрьских событий 1917 года. С помощью Менжинского, нового руководителя ПЗУ, Сталин лично занимается организацией «специального отряда» для защиты государства. Техническое командование этим специальным отрядом, который размещается в последнем этаже здания ПЗУ на Лубянке, вверено Менжинскому: он лично контролирует отбор надежных людей из работников технических служб, электротехников, телеграфистов, телефонистов, железнодорожников, механиков и т. д. Каждый вооружен только ручной гранатой и револьвером, чтобы быть свободным в движениях. Специальный отряд состоит из ста «команд» по десять человек в каждой, которым приданы двадцать боевиков. Каждая команда располагает взводом пулеметчиков и двумя мотоциклистами для связи с другими командами и с

Лубянкой. Менжинский, принявший все необходимые меры, чтобы сохранить в тайне сам факт существования «специального отряда», делит Москву на десять секторов: они будут связаны между собой секретной телефонной сетью, замкнутой на Лубянку. Кроме Менжинского, о существовании и схеме этой телефонной сети знают только работавшие над ней монтеры. Таким образом, все жизненно важные технические центры Москвы связаны с Лубянкой посредством телефонной сети, которой не угрожает ни захват, ни попытка саботажа. В зданиях, находящихся в стратегически важных пунктах каждого сектора, размещены многочисленные «ячейки» для наблюдения, контроля и обороны: они представляют собой звенья одной цепи, являющейся нервной системой всей организации.

Боевая единица специального отряда — команда. Каждая команда проводит учения на отведенной ей территории, в рамках своего сектора. Каждый член команды должен точно знать боевую задачу своей, а также остальных девяти команд своего сектора. Организация эта, по словам Менжинского, «тайная и невидимая». Ее члены не носят формы, их нельзя узнать по какому-либо внешнему признаку: самая принадлежность к организации сохраняется в тайне. Кроме технической и военной подготовки, члены специального отряда получают и политический инструктаж: все средства пущены в ход для того, чтобы разжечь в них ненависть к явным или скрытым врагам революции, к евреям, к сторонникам Троцкого. Евреи в организацию не допускаются. Обучаясь искусству защиты советского государства от повстанческой тактики Троцкого, члены специального отряда проходят настоящую школу антисемитизма.

В России и в Европе много спорили об истоках антисемитизма Сталина. Одни оправдывают его, как шаг навстречу предрассудкам крестьянских масс, продиктованный политической конъюнктурой. Другие считают его лишь нюансом борьбы Сталина с евреями Троцким, Зиновьевым и Каменевым. Те, кто обвиняет Сталина в нарушении ленинского закона, объявлявшего контрреволюционным преступлением и строго каравшего всякую форму антисемитизма, очевидно, не принимают в расчет, что антисемитизм Сталина следует рассматривать лишь в свете его усилий по защите государства, как один из многочисленных элементов его тактики в борьбе с планами Троцкого.

Ненависти Сталина к трем евреям — Троцкому, Зиновьеву и Каменеву недостаточно, чтобы объяснить воскрешение государственного антисемитизма столыпинских времен через десять лет после Октябрьской революции. Причины борьбы с евреями, начатой Сталиным в 1927 году, следует искать, конечно, не в религиозном фанатизме и не в традиционных предрассудках, а в потребности сокрушить самых опасных из сторонников Троцкого.

Менжинский обратил внимание на то, что самые видные сторонники Троцкого, Зиновьева и Каменева почти сплошь евреи. В Красной армии, в профсоюзах, на заводах и в министерствах евреи стоят за Троцкого: в московском Совете, где большинство поддерживает Каменева, в ленинградском Совете, который полностью контролирует Зиновьев, нерв оппозиции Сталину составляют евреи. Чтобы оттолкнуть армию, профсоюзы, рабочие массы Москвы и Ленинграда от Троцкого, Зиновьева и Каменева, достаточно воскресить давние антисемитские предрассудки, инстинктивное отвращение русского

народа к евреям. В борьбе с «перманентной революцией» Сталин опирается на мелкобуржуазный эгоизм «кулаков» (богатых крестьян) и на невежество крестьянских масс, не отказавшихся от своей атавистической ненависти к евреям. С помощью антисемитизма он намеревается создать единый фронт солдат, рабочих и крестьян против троцкистской опасности. У Менжинского большие преимущества в борьбе в партии Троцкого, в охоте на членов тайной организации, которую Троцкий создает для захвата власти. В каждом еврее Менжинский подозревает и преследует троцкиста. Так борьба против Троцкого принимает характер настоящего государственного антисемитизма. Евреев систематически изгоняют из армии, из профсоюзов, из рядов государственной и партийной бюрократии, из правлений промышленных и торговых трестов. Чистка проводится даже в народных комиссариатах иностранных дел и внешней торговли, где евреи считались незаменимыми.

Мало-помалу партия Троцкого, успевшая протянуть щупальца ко всем узлам политической, экономической и административной машины государства, начинает распадаться. Среди евреев, подвергшихся преследованию ГПУ, лишенных должности, места, заработной платы, оказавшихся за решеткой, в ссылке, рассеянных кто где или обреченных вести постылую жизнь на обочине советского общества, очень многие не имеют никакого отношения к троцкистскому заговору. «Они расплачиваются за других, а другие будут расплачиваться вдвойне», — говорит Менжинский.

Троцкий ничего не может предпринять против тактики Сталина: он не в состоянии защититься от спровоцированного взрыва инстинктивной народной ненависти к евреям. Все предрассудки старой царской

России, пробудившись, обрушиваются на него. Его громадный авторитет не выдерживает этого неожиданного натиска оживших инстинктов и предрассудков русского народа. Его самые безотказные и самые верные сторонники, рабочие, пошедшие за ним в октябре 1917 года, солдаты, которых он привел к победе над казаками Колчака и Врангеля, теперь отходят от него. Отныне в глазах рабочих масс Троцкий всего-навсего еврей.

Зиновьев и Каменев начинают бояться неукротимой отваги Троцкого, его упорства, его высокомерия, его ненависти к отступникам и предателям, его презрения к противникам. Каменев слабее Зиновьева: он не предает Троцкого, а покидает его. Накануне восстания против Сталина он ведет себя по отношению к Троцкому так же, как вел себя по отношению к Ленину накануне октябрьского восстания. «Я не верил в восстание», — скажет он потом в свое оправдание. «Он не верил и в предательство», — скажет Троцкий, который никогда не простит Каменеву, что у того не хватило мужества предать его открыто. А вот Зиновьев не покидает Троцкого: он предаст его только в последний момент, после провала восстания против Сталина. «Зиновьев не трус, — скажет о нем Троцкий, — он удирает только при виде опасности».

Чтобы удалить его от себя в опасный момент, Троцкий поручает ему организовать в Ленинграде «команды» рабочих, которые должны будут завладеть городом после известия о победе восстания в Москве. Но Зиновьев уже не кумир пролетарских масс Ленинграда. В октябре 1926 года, когда центральный комитет партии собирается на пленум в бывшей столице, демонстрация, организованная в честь

центрального комитета, внезапно становится демонстрацией в поддержку Троцкого. Если бы Зиновьев сохранил свое влияние на ленинградских рабочих, этот эпизод мог бы стать отправной точкой к восстанию. Впоследствии Зиновьев поставил себе в заслугу эту демонстрацию протеста. На самом же деле ее не предвидели ни Зиновьев, ни Менжинский. Даже Троцкого она застала врасплох: но у него хватило здравого смысла не воспользоваться ею. Рабочие массы Ленинграда были уже не те, что десять лет назад. Во что превратилась красная гвардия октября 1917 года?

Эта вереница рабочих и солдат, которая свистит, проходя мимо трибун у Таврического дворца, где стоят члены центрального комитета, и теснится вокруг Троцкого, приветствуя героя октябрьского восстания, создателя Красной армии, защитника свободы профсоюзов, открывает Сталину всю слабость тайной организации Троцкого. В тот день кучка храбрецов могла бы овладеть городом без единого выстрела. Но теперь уже не Антонов-Овсеенко командует отрядами рабочих, боевыми единицами восстания: красногвардейцы Зиновьева боятся предательства со стороны своего командира. «Если у троцкистской группировки в Москве не больше силы, чем в Ленинграде, — думает Менжинский, — то победа нам обеспечена».

У Троцкого начинает уходить почва из-под ног: слишком долго смотрел он на преследования, аресты, ссылку своих сторонников, бессильный что-либо предпринять. Слишком долго смотрел, как его все чаще и чаще бросают, предают те, кто не однажды доказал свое мужество и твердость. Наконец, почуввав опасность, он очертя голову бросается в схватку, в его крови закипает неукротимая, изумляющая гордыня

гонимого еврея, жестокий мстительный порыв, от которого в его голосе начинают звучать библейские ноты отчаяния и бунтарства.

Этот бледный человек с горящими от бессонницы и лихорадки близорукими глазами, выступающий на митингах, в казармах и на заводах перед толпами недоверчивых, испуганных, сомневающихся солдат, — уже не Троцкий 1922-1924 годов. Это Троцкий 1917-1921 годов, Троцкий октябрьского восстания и гражданской войны, большевистский Катилина, Троцкий Смольного и полей сражений, Великий Мятезник. В этом бледном, полном огня человеке рабочие Москвы узнают Троцкого боевых ленинских лет. На заводах и в казармах уже повеяло ветром восстания. Но Троцкий остается верен своей тактике: на штурм государства он хочет бросить не толпу, а тайно сформированные особые отряды. Он хочет захватить власть не путем открытого восстания рабочих масс, а в результате «научно подготовленного» государственного переворота. Через неделю-другую будут праздновать десятую годовщину Октябрьской революции. Из всех европейских стран съедутся делегаты секций Третьего Интернационала. Десятую годовщину своей победы над Керенским Троцкий намерен отметить победой над Сталиным. Делегации рабочих со всей Европы увидят, как пролетарская революция возродится и возьмет верх над мелкобуржуазным кремлевским Термидором. «Троцкий ведет нечестную игру», — с улыбкой говорит Сталин. И внимательно следит за действиями противника, крадет за ним по пятам. Тысяча рабочих и солдат, давних сторонников Троцкого, сохранивших верность революционной идее большевистской старой гвардии, готовы к решающему дню: троцкистские команды техников и рабочих давно

уже проходят тренировку на «невидимых учениях». До членов специального отряда, сформированного Менжинским для защиты государства, доносится глухой рокот машины восстания, запущенной Троцким: масса мелких фактов предупреждает их о близящейся опасности. Менжинский всеми средствами пытается затормозить движение противника, но акты саботажа на железных дорогах, электростанциях, телефонной сети и телеграфе множатся с каждым днем. Агенты Троцкого проникают повсюду, нащупывая сцепления и узлы технической структуры государства, вызывая порой частичный паралич самых ранимых органов. Это проба сил перед восстанием.

Техники из специального отряда Менжинского постоянно начеку, они следят за состоянием нервных узлов государства, проверяют их чувствительность, определяют силу их сопротивления и возможность дать отпор. Менжинский хотел бы, не теряя времени, арестовать Троцкого и самых опасных его сподвижников: но Сталин против. Накануне празднования десятой годовщины революции арест Троцкого произвел бы неприятное и нежелательное впечатление как на массы советских трудящихся, так и на делегации рабочих со всех стран Европы, которые уже съезжаются в Москву для участия в торжествах. Троцкий не мог выбрать более подходящего момента для попытки захватить власть: будучи превосходным тактиком, он сумел себя обезопасить. Сталин не решается арестовать его, чтобы не выглядеть тираном. Когда он решится, будет уже поздно, думает Троцкий: праздничная иллюминация погаснет, а Сталин больше не будет у власти.

Восстание должно начаться с захвата технических узлов государственной машины и ареста

народных комиссаров, членов центрального комитета и комиссии по чистке в партии. Но Менжинский отразил удар: красногвардейцы Троцкого никого не застают дома. Вся верхушка сталинской партии укрылась в Кремле, где Сталин, холодный и невозмутимый, ждет исхода борьбы между силами повстанцев и специальным отрядом Менжинского.

Седьмое ноября 1917 года. Москва вся расцвечена красным: колонны делегатов союзных республик, съехавшихся со всех концов России и из глубин Азии проходят перед гостиницами «Савой» и «Метрополь», где остановились делегации рабочих Европы. На Красной площади у кремлевской стены тысячи и тысячи алых знамен реют вокруг мавзолея Ленина. В глубине площади, перед собором Василия Блаженного выстроены казаки кавалерии Буденного, пехота Тухачевского, ветераны 1918, 1919, 1921 годов, — солдаты, которых Троцкий привел к победе на всех фронтах гражданской войны. В то время как народный комиссар обороны Ворошилов принимает парад советских войск, создатель Красной армии Троцкий во главе своей тысячи предпринимает государственный переворот.

Однако Менжинский успел принять все необходимые меры. Суть его оборонительной тактики в том, чтобы не защищать находящиеся под угрозой государственные объекты снаружи, привлекая воинские части, а отстаивать их изнутри, силами горстки людей. Невидимому натиску Троцкого он противопоставляет невидимую оборону. Он не расходует силы понапрасну, не отправляет людей охранять Кремль, народные комиссариаты, управления промышленных и торговых трестов, советы профсоюзов и административные учреждения. Пока полицейские подразделения ГПУ обеспечивают

безопасность политических и административных органов государства, Менжинский сосредотачивает силы своего специального отряда на защите технических центров. Этого Троцкий не предвидел. Он слишком презирал Менжинского и был слишком высокого мнения о себе, чтобы считать руководителя ГПУ достойным противником. Слишком поздно он замечает, что враги сумели извлечь урок из событий октября 1917 года. Когда ему сообщают, что попытка захвата телефонных станций, телеграфа и вокзалов провалилась, и что события принимают непредвиденный, необъяснимый оборот, он сразу отдает себе отчет в том, что его повстанческая акция натолкнулась на систему обороны, не имеющую ничего общего с обычными полицейскими мерами, но все еще не отдает себе отчета в реальном положении вещей. Наконец, узнав о неудавшейся попытке захвата московской электростанции, он круто меняет план действий: теперь он будет целить в политическую и административную структуру государства. Он уже не может рассчитывать на свои штурмовые отряды, отброшенные и рассеянные неожиданным и яростным сопротивлением врага, а потому решает отказаться от своей излюбленной тактики и направить все усилия на разжигание всеобщего восстания. Его призыв к пролетарским массам Москвы был подхвачен лишь несколькими тысячами рабочих и студентов. В то время как на Красной площади, перед мавзолеем Ленина, толпа окружает трибуну, где находятся Сталин, руководители партии и правительства, делегаты Третьего Интернационала, сторонники Троцкого наводняют огромную аудиторию университета, отбивают атаку отряда милиции и направляются к Красной площади во главе колонны студентов и

рабочих.

Поведение Троцкого в этих обстоятельствах подвергалось с самых разных позиций самой суровой критике. Призыв к народу, выход на площадь, — все это было просто дурацкой авантюрой. После провала своего плана Троцкий словно бы уже не повинуетя холодному рассудку, который в решающие часы его жизни смирял огонь воображения расчетом, а ярость страстей — цинизмом: опьяненный отчаянием, он теряет контроль над ситуацией и оказывается целиком во власти своей страстной природы, которая увлекает его в безумную затею свергнуть Сталина с помощью мятежа. Быть может, он чувствует, что игра проиграна, что он утратил доверие масс, что лишь немногие из друзей остались ему верны. Он чувствует, что отныне может рассчитывать только на себя самого, но ничто не потеряно до тех пор, пока не потеряно все. Ему приписывали даже дерзкий план: похитить мумию Ленина, лежащую в стеклянном гробу в скорбном мавзолее у подножия Кремлевской стены, и призвать народ сплотиться вокруг этого фетиша революции, превратить мумию красного диктатора в своеобразный таран, чтобы сокрушить им сталинскую тиранию. Эта мрачная легенда по-своему величественна. Кто знает, быть может, такая идея и промелькнула на какой-то миг в воспаленном воображении Троцкого в то время, как вокруг волновалась толпа, а его маленькая армия студентов и рабочих двигалась на Красную площадь, переполненную солдатами и народом, оцетинившуюся штыками и рдеющую знаменами?

При первом же столкновении колонна его сторонников отступает и рассеивается. Троцкий глядит вокруг. Где его верные сподвижники, вожди его фракции, полководцы маленького безоружного

войска, брошенного им на захват власти? Единственным, кто не дрогнул в этой схватке, был сам Троцкий, великий мятежник, Катилина коммунистической революции. «Один солдат, — рассказывает Троцкий, — выстрелил в мой автомобиль, как бы в знак предупреждения. Без сомнения, кто-то направлял его руку. Имеющие глаза увидели 7 ноября на улицах Москвы повторение Термидора».

В своем печальном изгнании Троцкий, возможно, думает, что революционная Европа сумеет извлечь из этих событий полезный урок. Но он упускает из виду, что этим уроком может воспользоваться Европа буржуазная.

XIII

Во время фашистского переворота в октябре 1922 года, во Флоренции, один необычный случай свел меня с Израэлом Зенгвиллом, английским писателем, который и в книгах, и в жизни — даже в те революционные дни — никогда не поступался своими либеральными убеждениями и демократическими предрассудками. Во Флоренции, когда он выходил из здания вокзала, его задержал патруль чернорубашечников за отказ предъявить документы. В Англии Израэл Зенгвилл принадлежал к Union of democratic control, и был заклятым врагом всякого насилия и беззакония. Вооруженные люди, занимавшие вокзал, не были ни карабинерами, ни солдатами, ни агентами полиции, они были чернорубашечниками, то есть лицами, не имевшими никакого права занимать вокзалы и требовать от него предъявления документов.

Писателя привели в здание фашистского штаба

на площади Ментана, у реки, где раньше помещалась ФИОМ — всеитальянская федерация рабочих-металлистов, социалистическая профсоюзная организация, которую фашисты разогнали, — и ввели в кабинет консула Тамбурины, тогдашнего командира чернорубашечников во Флоренции. Тамбурины послал за мной как за переводчиком; к моему большому удивлению, я увидел перед собой Израэла Зенгвилла, блестяще исполнявшего роль члена Union of democratic control, жертвы революции, которая не была ни английской, ни либеральной, ни демократической.

Он был в ярости и высказывал на очень приличном английском языке совсем неприличные мысли о революциях вообще и о фашизме в частности; лицо у него побагровело от гнева, а взгляд безжалостно испепелял бедного Тамбурины, который не знал английского языка и не понял бы ни слова из этой либеральной и демократической тирады, даже если бы незнакомец изъяснялся по-итальянски. Я постарался как мог передать в учтивых выражениях эту речь, столь нестерпимую для слуха фашиста, чем, думаю, оказал большую услугу Израэлу Зенгвиллу, так как в те дни консул Тамбурины не был ни персонажем Феокрита, ни членом Фабиановского общества: тем более, что он вообще не знал о существовании Израэла Зенгвилла и, похоже, не верил, что встретился с видным английским писателем.

— Я не понимаю ни слова по-английски, — сказал мне консул Тамбурины, — но думаю, что ты неточно перевел его слова: английский язык — контрреволюционный, мне кажется, что у него и синтаксис какой-то либеральный. Так или иначе, забирай этого господина и постарайся, чтобы он

забыл о неприятном инциденте.

Я вышел вместе с Зенгвиллом, проводил его до гостиницы и провел с ним несколько часов, беседуя о Муссолини, о политической обстановке в Италии и о начавшейся борьбе за власть.

Это был первый день восстания, и ход событий как будто следовал логике, не совпадавшей с логикой правительства. Израэл Зенгвилл не хотел верить, что попал в самый разгар революции. «В 1789 году в Париже, — говорил он, — революция происходила не только в умах, но и на улицах».

Действительно, Флоренция ничуть не походила на Париж 1789 года: люди на улицах казались спокойными и равнодушными, на всех лицах играла извечная флорентийская улыбка, учтивая и ироническая. Я заметил, что в 1917 году в Петрограде, в тот день, когда Троцкий дал сигнал к восстанию, никто не мог заметить происходящего: театры, кинематографы, рестораны, кафе работали как ни в чем не бывало; в наше время техника государственного переворота достигла больших успехов.

— Муссолини устроил не революцию, а комедию! — восклицал Зенгвилл.

Как многие итальянские либералы и демократы, он подозревал наличие сговора между королем и Муссолини; восстание было лишь «инсценировкой», которой надлежало замаскировать политическую игру монархии. Мнение Зенгвилла, хоть и ошибочное, было в высшей степени респектабельным, как вообще все мнения англичан. Но оно основывалось на убеждении, что все события этих дней были результатом политической игры, главными элементами которой были не насилие и революционный дух, а хитрость и расчет. В глазах Израэла Зенгвилла Муссолини был

скорее учеником Макиавелли, чем Катилины: мнение английского писателя разделяли и по сей пору разделяют в Европе очень многие. С начала нашего столетия европейцы привыкли рассматривать поведение людей и события в Италии так, словно они продиктованы логикой и эстетикой минувших эпох.

Такой взгляд на историю современной Италии в большой степени объясняется врожденной склонностью итальянцев к высокопарности, красноречию и литературе: не у всех этот недостаток разрастается до болезни, но многие от него так и не излечиваются. Хотя о народе следует судить именно по его недостаткам, а не по достоинствам, сложившееся у иностранцев мнение о современной Италии кажется мне совершенно неоправданным, — даже если высокопарность, красноречие и литература способны исказить события до такой степени, что история делается похожей на комедию, герои — на комедиантов, а народ — на статистов и зрителей.

Чтобы по-настоящему понять состояние дел в современной Италии, надо рассмотреть их объективно, то есть забыв о существовании древних греков, римлян и итальянцев эпохи Возрождения. «И тогда вы увидите, — говорил я Израэлу Зенгвиллу, — что в Муссолини нет ничего античного; это всегда, порой помимо желания, человек современный, его политическая игра непохожа на игру Цезаря Борджиа, его макиавеллизм мало отличается от макиавеллизма Гладстона или Ллойд Джорджа, а его концепция государственного переворота не имеет ничего общего с концепцией Суллы или Юлия Цезаря. В эти дни вы услышите много разговоров о Рубиконе, о Цезаре: но это чистая риторика, которая не помешала Муссолини задумать и применить на деле современнейшую технику восстания, которой правительство не в

состоянии противопоставить ничего, кроме полицейских мер».

Израэл Зенгвилл иронически заметил, что граф Оксеншерн в своих знаменитых мемуарах, говоря об этимологии имени «Цезарь», утверждает, будто оно происходит от карфагенского слова «сесар», означающего «слон». «Надеюсь, — добавлял он, — что Муссолини в своей революционной тактике окажется проворнее слона и современнее Цезаря». Ему было бы очень интересно своими глазами увидеть то, что я называл машиной фашистского восстания: он не понимал, как можно совершить революцию без баррикад, без уличных боев, без горы трупов на тротуарах. «Кругом спокойствие и порядок! — восклицал он. — Это комедия, и ничем, кроме комедии, быть не может».

По центральным улицам на большой скорости разъезжали грузовики с чернорубашечниками: на них были стальные каски, в руках — ружья и черные знамена с изображением черепа, вышитым серебром. Зенгвилл не хотел верить, что эти юноши, эти мальчишки и составляли знаменитые штурмовые отряды Муссолини, такие стремительные и такие жестокие в бою. «Чего нельзя простить фашистам, — говорил он, — так это применение насилия». Но революционная армия Муссолини не была Армией спасения, а ножи и ручные гранаты были у чернорубашечников не для того, чтобы заниматься благотворительностью, а для того, чтобы вести гражданскую войну. Люди, отрицающие применение фашистами насилия и желающие выдать их за последователей Руссо и Толстого, — это те же больные высокопарностью, красноречием и литературой люди, которые хотели бы уверить нас, будто Муссолини — древний римлянин, средневековый

кондотьер или властитель эпохи Возрождения с белыми холеными руками отравителя и неоплатоника. Последователи Руссо и Толстого под водительством древнего римлянина могут совершить не революцию, а в лучшем случае нечто, смахивающее на комедию; они не могут даже захватить власть в стране с либеральным правительством. «Вы не лицемер, — сказал мне Зенгвилл, — но можете ли вы наглядно доказать мне, что эта революция — не комедия?»

Я предложил ему этим же вечером поехать со мной и увидеть своими глазами то, что я называл фашистской машиной восстания.

Чернорубашечники с налета заняли все стратегические пункты города и области, а именно: узлы технических коммуникаций, газораспределители, электростанции, почтамт, телефон и телеграф, мосты и вокзалы. Политические и военные власти были захвачены врасплох этим внезапным натиском. Полиция после нескольких безуспешных попыток выбить фашистов из зданий вокзала, почтамта, телефонной станции и телеграфа, укрылась во дворце Медичи-Риккарди, где помещалась префектура и где некогда жил Лоренцо Великолепный; здания охраняли подразделения карабинеров и королевской гвардии с двумя броневиками. Оказавшись в осажденной префектуре, префект Периколи не мог связаться ни с правительством, ни с руководителями города и области: телефонные линии были перерезаны, а расположившиеся в соседних домах фашистские пулеметчики держали под прицелом все выходы из дворца. Войска гарнизона, пехотные, артиллерийские, кавалерийские части перешли на казарменное положение: военные власти пока соблюдали благосклонный нейтралитет. Но полагаться на этот нейтралитет нельзя было: если бы положение не

прояснилось за двадцать четыре часа, то следовало ожидать, что командующий корпусом князь Гонзага возьмет инициативу в свои руки и восстановит порядок всеми возможными средствами. Столкновение с армией могло бы иметь для революции тяжелейшие последствия. Флоренция, наряду с Пизой и Болоньей, — это ключ к железнодорожному сообщению между севером и югом Италии. Чтобы обеспечить передвижение сил фашистов с севера в район Рима, нужно было любой ценой удержать главный стратегический пункт центральной Италии: а потом отряды чернорубашечников, идущие на столицу, заставят правительство передать власть Муссолини. Было только одно средство удержать Флоренцию: выиграть время.

Насилие не исключает обмана. По приказу квадрумвира Бальбо, неожиданно прибывшего во Флоренцию, отряд фашистов направился в редакцию «Национе», самой значительной ежедневной газеты Тосканы. Войдя в кабинет главного редактора Альдо Борелли (теперь он главный редактор «Коррьере делла Сера»), они приказали ему немедленно напечатать экстренный выпуск с сообщением о том, что адъютант короля генерал Читтадини приехал в Милан для переговоров с Муссолини, и что в результате этого демарша Муссолини согласился сформировать правительство. Сообщение было фальшивкой, но очень походило на правду: было известно, что король в то время находился в своей резиденции Сан Россоре близ Пизы, но читатели еще не знали, что как раз этим вечером он уехал в Рим, сопровождаемый генералом Читтадини. Два часа спустя сотни фашистских грузовиков уже развозили по всей Тоскане экстренные выпуски «Национе», их раздавали на улицах Флоренции и в провинциальном

захолустье, солдаты и карабинеры братались с чернорубашечниками, радуясь, что найдено решение, которое свидетельствовало как об осмотрительности и патриотизме короля, так и об осмотрительности и патриотизме революционеров. Князь Гонзага лично отправился в фашистский штаб за подтверждением радостного известия, которое могло положить конец его душевному разладу и снимало с него тяжелую ответственность. Он связался с Римом по радио и просил подтвердить факт соглашения между королем и Муссолини, но, как он сказал, военный министр не захотел внести ясность и ответил, что не надо впутывать имя короля во всякие межпартийные дразги, и что известие, по всей видимости, преждевременное. «А я по опыту знаю, — с улыбкой сказал князь, — что для военного министра достоверные известия — всегда преждевременные».

Вечером генерал Бальбо уехал на автомобиле в Перуджу, где находился генеральный штаб революции, а консул Тамбурини со своим легионом погрузился в поезд, чтобы в окрестностях Рима соединиться с другими фашистскими отрядами. Флоренция, казалось, спала. Около полуночи я отправился в гостиницу «Порта Росса», где меня ждал Израэл Зенгвилл, дабы продемонстрировать ему нечто такое, что доказывало бы: фашистская революция — не комедия.

Израэл Зенгвилл встретил меня с очень довольным видом: в руках у него был экстренный выпуск «Национе». «Ну, теперь вы убедились, что король был заодно с Муссолини? — сказал он мне. — Убедились, что конституционная революция не может быть ничем иным, кроме инсценировки?» Я рассказал ему историю фальшивки, чем, по-видимому, поверг его в сильное замешательство. «А как же свобода

печати?» — воскликнул он. Разумеется, конституционный монарх не стал бы сговариваться с революционерами об упразднении свободы печати: комедия принимает серьезный оборот. Но свобода печати никогда не мешала газетчикам печатать фальшивки: на это ему возразить было нечего, он заметил только, что в свободной стране, как, например, Англия, свобода печати не означает права печатать фальшивки.

Город словно вымер. На перекрестках дежурили фашистские патрули, неподвижно стоявшие под дождем, в черных фесках, надетых набекрень. На виа деи Пекори перед телефонной станцией стоял грузовик — один из тех обитых внутри сталью и вооруженных пулеметами грузовиков, которые фашисты называли «танками». Телефонная станция была захвачена штурмовым отрядом «Красная лилия», их бойцы носили этот цветок на груди: «Красная лилия», как и «Отчаянные», была одной из самых грозных боевых организаций флорентийских легионов. Недалеко от вокзала на Марсовом поле мы встретили пять грузовиков с ружьями и пулеметами, которые фашистские ячейки казармы Сан-Джорджо (на заводах, в воинских частях, в банках, в государственных учреждениях — всюду имелись фашистские ячейки, образовавшие тайную сеть революционной организации) сдали Верховному командованию легионов. Эти ружья и пулеметы предназначались отряду чернорубашечников из Романы, вооруженному лишь ножами и револьверами: их приезд из Фаэнцы ожидался с минуты на минуту.

— Похоже на то, — сказал мне военный комендант вокзала, — что в Болонье и в Кремоне были столкновения с карабинерами, и фашисты понесли серьезные потери. — Чернорубашечники атаковали

казармы карабинеров, которые оказали ожесточенное сопротивление. Из Пизы, Лукки, Ливорно, Сиены, Ареццо, Гроссето приходили более утешительные вести: вся техническая структура городов и областей была в руках фашистов. «Убитых много?» — спросил Израэл Зенгвилл. И очень удивился, узнав, что нигде в Тоскане не было кровопролитных боев. «Очевидно, в Болонье и в Кремоне фашистская революция более серьезна, чем здесь», — заметил он. Но большевистское восстание 1917 года в Петрограде осуществилось почти без потерь: жертвы были только через несколько дней после переворота, когда красногвардейцам Троцкого пришлось подавить выступления юнкеров и оттеснить наступавших казаков Керенского и генерала Краснова. «Кровавые столкновения в Болонье и в Кремоне, — сказал я, — доказывают только, что там в организации фашистской революции был какой-то изъян. Когда машина восстания функционирует безукоризненно, как здесь, в Тоскане, неприятности случаются крайне редко.

Израэл Зенгвилл не смог скрыть иронической улыбки:

— Ваш король очень умелый механик: это благодаря ему ваша машина работает без сбоев.

В эту минуту на вокзал прибыл поезд, окруженный облаком пара, гремящий песнями и барабанным боем. «Прибыли фашисты из Романы», — сообщил проходивший мимо железнодорожник с винтовкой за спиной. Вскоре мы очутились в толпе чернорубашечников, живописного и несколько устрашающего вида, с вышитыми на груди черепами, выкрашенными в красный цвет стальными касками и ножами, заткнутыми за широкие кожаные пояса. У них были грубоватые черты лица, типичные для крестьян

Романьи; усы и остроконечная бородка придавали этим опаленным солнцем лицам плутоватый, дерзкий и угрожающий вид. Англичанин весь сжался; любезно улыбаясь, он старался побыстрее выбраться из шумливой толпы, прокладывая себе дорогу учтивыми жестами, которые привлекали к нему удивленные взгляды этих людей с ножами за поясом. «Не очень-то приветливый у них вид», — жаловался он мне приглушенным голосом.

— Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы революции совершались приветливыми людьми. В политической борьбе, которую Муссолини ведет уже четыре года, он действует не лестью и обманом, а насилием, самым жестоким, самым беспощадным, самым научно обоснованным насилием, какое только бывает.

Поистине необыкновенное приключение случилось с Израэлом Зенгвиллом, арестованным патрулем якобинцев в черных рубашках, освобожденным ими, а затем бродившим ночью по городу среди оголтелых толп, чтобы своими глазами увидеть все и убедиться, что фашистская революция — не комедия. «Надеюсь, я не похож на Кандида, попавшего к иезуитам», — с улыбкой говорил он. Это верно, он был похож скорее на Кандида, попавшего в военный лагерь: но может ли существовать английский Кандид по имени Израэл? Эти деревенские Геркулесы с беспощадными глазами, квадратными челюстями и тяжелыми кулаками мерили его презрительными взглядами, удивляясь и недоумевая, почему у них путается под ногами какой-то господин в твердом воротничке, робкий и церемонный, непохожий ни на агента полиции, ни на депутата-либерала.

Пока мы шагали по безлюдным улицам, я

говорил Израэлу Зенгвиллу: «Ваше презрение к фашистской революции, которую вы считаете комедией, не вяжется с вашей ненавистью к чернорубашечникам, которым английская печать все время ставит в вину то, что они прибегают к насилию. Если революционеры все время прибегают к насилию, то как же их революция может быть комедией? А ведь чернорубашечники не просто склонны к насилию, они безжалостны. Правда, фашисты на страницах своих газет иногда опровергают обвинения в насилии, предъявляемые им противниками: но это лицемерие, достойное мелких буржуа. Впрочем, и сам Муссолини ведь не вегетарианец, не приверженец «христианской науки» и не социал-демократ. Его марксистская подготовка не позволяет ему погружаться в толстовские нравственные сомнения: он не обучался хорошим политическим манерам в Оксфорде, а чтение Ницше привило ему стойкое отвращение к романтизму и благотворительности. Если бы Муссолини был мелким буржуа с прозрачными глазами и бесцветным голосом, то его сторонники, несомненно, отвернулись бы от него и стали искать себе другого лидера. Так чуть было не случилось в прошлом году, когда он хотел заключить перемирие с социалистами: это вызвало острое недовольство и даже отпор среди фашистов, которые единодушно высказывались за продолжение гражданской войны. Не надо забывать, что чернорубашечники, как правило, либо раньше состояли в крайне левых партиях, либо прошли через войну, и четыре года, проведенные в окопах, ожесточили их сердца, либо еще совсем молоды и полны великодушных порывов. Не надо также забывать, что Бог людей вооруженных может быть лишь Богом насилия.

— Этого я никогда не забуду, — кратко ответил

Израэл Зенгвилл.

На рассвете, когда мы вернулись в город, Израэл Зенгвилл успел повидать своими глазами то, что происходило в те дни по всей Италии: я провез его на машине по окрестностям Флоренции, от Эмпольи до Муджелло, от Пистойи до Сан-Джованни Вальдарно. Мосты, вокзалы, перекрестки, виадуки, шлюзы на каналах, зернохранилища, оружейные склады, газораспределители, электростанции, — все стратегические пункты были заняты отрядами фашистов. Из тьмы внезапно выныривали патрули: «Куда едете?» Вдоль железнодорожных путей через каждые двести метров стоял чернорубашечник. На вокзалах в Пистойе, Эмпольи, Сан-Джованни Вальдарно бригады железнодорожников-фашистов держали наготове инструменты, чтобы в случае крайней необходимости разобрать пути. Были приняты все меры для того, чтобы можно было обеспечить движение поездов, или же, наоборот, прервать его. Опасались, что подкрепления карабинеров и солдат попытаются прорваться в Умбрию и Лацио, чтобы ударить в тыл колоннам чернорубашечников, идущим на Рим. Эшелон с карабинерами из Болоньи был остановлен в нескольких метрах от знаменитого моста Вайони: после недолгой перестрелки поезд двинулся обратно, так и не осмелившись въехать на мост. В Серравалле, на дороге в Лукку, тоже произошли стычки: грузовики с солдатами королевской гвардии были обстреляны пулеметчиками, защищавшими въезд на Пистойскую равнину.

— Вы, конечно, читали «Жизнь Каструччо Кастракани» Макиавелли, где описывается битва при Серравалле? — спросил я у моего спутника.

— Я Макиавелли не читаю, — ответил Израэл Зенгвилл.

Было уже совсем светло, когда мы проехали через Прато — маленький городок близ Флоренции и крупный центр текстильной промышленности, где на двухстах фабриках работают в общей сложности двадцать пять тысяч рабочих. Его называют тосканским Манчестером: тут родился Франческо ди Марко Датини, которого считают изобретателем «разменного письма», или банковского чека. С точки зрения политика у Прато плохая репутация: это город рабочих бунтов и забастовок, и еще родина Гаэтано Бреши, убившего в 1900 году короля Умберто. Его жители добры сердцем, но скоры на Руку.

Улицы Прато были заполнены рабочими, которые шли на фабрики. Шли они молча, с равнодушным видом, даже не удостоивая взглядом воззвания квадрумвирата, расклеенные за ночь на стенах.

— Быть может, вам интересно будет узнать, — сказал я, — что Габриэле Д'Аннунцио изучал античных авторов именно здесь, в Прато, в знаменитом колледже Чиконьини.

— Сейчас, — ответил Израэл Зенгвилл, — мне интересно знать, на чьей стороне в этой революции будут рабочие. Главная опасность для фашистов — это не правительство: главная опасность — это всеобщая забастовка.

XIV

К концу 1920 года для фашистов проблемой была не победа над правительством или над социалистической партией, которая своей все возрастающей парламентаризацией все более дестабилизировала конституционный порядок в стране, а победа над профсоюзными организациями рабочих, представлявших единственную

революционную силу, способную защитить буржуазное государство от коммунистической или фашистской опасности.

Миссию рабочих организаций по защите государства, прекрасный пример выполнения которой продемонстрировал Бауэр в марте 1920 года, вполне осознавал и Джолитти, хотя он и был более осторожен. Политические партии ничего не могли предпринять против фашистов, чьи методы борьбы, оправданные насильственными действиями коммунистических красногвардейцев, нельзя было назвать политическими методами. Парламентские фракции этих партий стремились поставить вне закона все революционные группировки, которые не хотели выполнять требования об обязательном парламентском представительстве, или, как тогда говорили, о возвращении к легальности: такая деятельность партий не могла заставить фашистов отказаться от применения насилия против насилия коммунистов. Какой отпор могло дать правительство революционному действию чернорубашечников и красногвардейцев? Крупнейшие партии, социалистическая и католическая, которых парламентаризация свела к роли конституционных партий, могли только поддержать и, так сказать, узаконить решением парламента возможные репрессивные меры правительства. Но для того, чтобы положить конец хаосу, заливавшему кровью Италию, требовались не обычные полицейские меры, а совсем другое.

Вместо того, чтобы оказать вооруженный отпор революционному действию фашистов и коммунистов, Джолитти благоразумно решил нейтрализовать его с помощью ответного действия профсоюзных объединений трудящихся. Это был метод Бауэра,

применяемый в качестве превентивной меры против революционной опасности. Но Бауэр применял этот метод как марксист, а Джолитти — как либерал. Профсоюзные объединения превращались в маневренную массу, с помощью которой правительство могло вне пределов законности бороться с незаконными действиями чернорубашечников и красногвардейцев. В руках Джолитти забастовка стала представлять для фашистов и коммунистов такую же опасность, какую раньше представляла для правительства. Эпидемия забастовок, которой отмечены 1920 и 1921 годы и которая воспринималась буржуазией, да и самими рабочими, как некая болезнь государства, предвестница пролетарской революции, необходимый кризис, неизбежно ведущий к взятию власти пролетариатом, была ничем иным, как симптомом коренного изменения обстановки: забастовки были направлены уже не против правительства, как в 1919 году, но против всех революционных сил, собиравшихся захватить власть без участия профсоюзных объединений рабочих или во вред им. Вопрос об автономии профсоюзов долгое время был предметом разногласий между профсоюзным руководством и социалистической партией. Но от революционеров, собиравшихся прийти к власти, пришлось бы защищать уже не автономию, а само существование профсоюзных объединений. Выступая против фашистов, трудящиеся отстаивали свою классовую свободу. По отношению к коммунистам позиция рабочих была такой же, как у русских профсоюзов по отношению к большевикам накануне октябрьского переворота 1917 года. Но либеральная трактовка марксистского метода Бауэра, разработанная Джолитти, осложняла положение.

Либерализм Джолитти был всего лишь беспринципным оптимизмом: в этом политике, циничном и никому не доверявшем, своего рода парламентском диктаторе, слишком пронырливым, чтобы верить в идеи, и слишком отягощенном предрассудками, чтобы уважать людей, цинизм и недоверчивость непостижимым образом соединялись с оптимизмом; благодаря этому он мог создавать нужные ему ситуации, делая вид, что не имеет к ним никакого отношения, и усложнять их разными закулисными маневрами, заставляя всех думать, будто они развиваются сами по себе. Государство не внушало ему никакого уважения: именно в этом презрении к государству заключается тайна его политики. Его либеральная интерпретация марксистского метода Бауэра состояла в том, чтобы подменить репрессивные меры правительства революционным действием профсоюзных объединений, а значит, доверить им защиту буржуазного государства, чтобы избавить страну от фашистской и коммунистической опасности и развязать себе руки для парламентаризации, то есть разращения пролетариата.

К концу 1920 года в Италии создалась ситуация, не имеющая аналогий в истории политической борьбы в современной Европе. Д'Аннунцио, захвативший Фьюме, ежеминутно угрожал проникнуть на территорию Итальянского королевства со своими легионерами и захватить власть. У него имелись сторонники и среди рабочих; известно, что Федерация тружеников моря была связана с правительством Фьюме. Руководители профсоюзных объединений не считали его своим врагом, скорее, просто опасным человеком, способным втянуть страну в международные осложнения; во всяком случае, его не рассматривали как возможного союзника в борьбе с

фашизмом, хотя и было известно, что он завидует Муссолини и что его революционная фашистская организация имеет определенный вес во внутренней политике Италии. Соперничество между Д'Аннунцио и Муссолини не было плохой картой в игре Джолитти, который честно играл плохими картами и нечестно — хорошими. Со своей стороны, коммунисты, оказавшись под перекрестным огнем фашистов и правительства, потеряли всякое влияние на массы трудящихся. Их преступная и наивная склонность к террору, полное непонимание задач революции в Италии, их неспособность отказаться от тактики, которая в плане прямого действия сводилась к бессмысленной трате сил на организацию покушений, одиночных акций, бунтов в казармах и на фабриках, в бесполезной уличной войне в маленьких провинциальных городках — тактики, которая делала их жестокими и отважными героями некоей повстанческой утопии, — все это обрекало их на второстепенную роль в борьбе за власть. Сколько выгодных моментов было упущено, сколько акций сорвалось в красном 1919 году, когда любой маленький Троцкий, любой провинциальный Катилина при сильном желании мог с горсткой людей после нескольких выстрелов захватить власть, не потревожив ни короля, ни правительство, ни историю Италии. В Кремле политический утопизм итальянских коммунистов был излюбленной темой бесед в хорошую минуту: новости из Италии заставляли Ленина, всегда оживленного и всегда осмотрового, хохотать до слез: «Итальянские коммунисты? Ха-ха-ха!» Он веселился, как ребенок, читая послания, которые Д'Аннунцио отправлял ему из Фьюме.

Проблема Фьюме все более и более становилась проблемой внешнеполитической. Миниатюрное государство, созданное Д'Аннунцио в сентябре 1919

года, за несколько месяцев проделало в обратном порядке путь, обычно совершаемый другими государствами за долгие века: государство, которое, по замыслу Д'Аннунцио, должно было стать зародышем мощной революционной организации, атакующей пешкой националистической революции, началом пути революционной армии, идущей на штурм Рима, — это государство к концу 1920 года было всего лишь итальянским княжеством эпохи Возрождения, сотрясаемым междоусобными распрями и отравленным честолюбием, риторикой и страстью к роскоши своего Государя, слишком красноречивого, чтобы следовать советам Макиавелли. Слабость этого княжества заключалась не только в его анахроничности, но и в том, что его существование было скорее фактом внешней политики, а не внутренней. Захват Фьюме не был государственным переворотом. Он не изменил внутривнутриполитической ситуации в Италии: он только нарушил международную договоренность по Фьюме, которая ущемляла право народов самим решать свою судьбу. Это большая заслуга Д'Аннунцио, и это его большая слабость в плане революционной ситуации в Италии. Создав государство Фьюме, он превратился в важный фактор внешней политики Италии, но вышел из внутривнутриполитической игры, на которую отныне имел лишь косвенное влияние. Роль, предназначенная легионерам Д'Аннунцио, по логике событий переходила к чернорубашечникам; пока он сидел во Фьюме, как государь независимого княжества, имевшего свои законы, свое правительство, свою армию, свои финансы и своих послы, Муссолини все больше расширял собственную организацию. Тогда говорили, что Д'Аннунцио — государь, а Муссолини — его Макиавелли; на самом деле для итальянской молодежи Д'Аннунцио был уже только символом,

носителем национального духа, а проблема Фьюме свелась к традиционной теме, которую Муссолини использовал для нападков на правительство, в дебатах как по внешней, так и по внутренней политике. Однако существование государства Фьюме, хоть и выводило на какое-то время из игры опасного конкурента, все же беспокоило Муссолини: соперничество между ним и Д'Аннунцио вызывало определенную реакцию даже у его собственных сторонников. Те, кто пришел из правых партий, слишком уж симпатизировали Д'Аннунцио, а те, кто пришел слева — республиканцы, социалисты, коммунисты — они были в большинстве и образовывали основное ядро фашистских штурмовых отрядов, — не скрывали своей враждебности к этому призраку XV века. На этом соперничестве несколько раз, но всегда безуспешно, пытался сыграть и сплутовать Джолитти, надеясь спровоцировать открытую борьбу между Д'Аннунцио и Муссолини; но вскоре он понял, что не стоит терять время на это пустое занятие. Понуждаемый необходимостью как можно скорее уладить проблему Фьюме, он решил силой уничтожить государство Д'Аннунцио, и в канун Рождества 1920 года, воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, послал во Фьюме ударные войсковые части.

На крик боли, вырвавшийся у легионеров Д'Аннунцио ответом был крик возмущения, прокатившийся по всей Италии. Фашизм еще не был готов к настоящему восстанию. Борьба предстояла тяжелая, черные и красные знамена гражданской войны уже развевались по деревьям и рабочим окраинам на злом ветру этой злобной зимы. Муссолини надо было не только отомстить за убитых во Фьюме, ему надо было еще обороняться от

реакционных сил, желавших похоронить фашизм под обломками государства Д'Аннунцио. Позиция правительства и рабочих находила выражение в полицейских репрессиях и кровавых стычках, зачинщиками которых теперь были рабочие. Джолитти хотел воспользоваться кризисом, разъедавшим фашизм изнутри, и замешательством, вызванным в его рядах трагическим Рождеством во Фьюме, чтобы объявить Муссолини вне закона. Руководители Профсоюзов вели борьбу с помощью масштабных забастовок: целые города, районы, области оказывались парализованными в результате конфликта, вспыхнувшего в каком-нибудь маленьком городке, после первого выстрела начиналась забастовка: раздавался тоскливый вой гудка, заводы пустели, в домах закрывались окна и двери, движение останавливалось, пустынные улицы казались серыми и голыми, словно палуба броненосца перед сражением.

Прежде чем уйти с завода, рабочие снаряжались к бою: оружие появлялось отовсюду, из-под токарных, из-за ткацких станков, из-за динамо-машин и паровых котлов; кучи угля выплевывали ружья и патроны; люди с непроницаемыми лицами и размеренными движениями проскальзывали между мертвыми машинами, поршнями, кузнечными молотами, наковальнями, подъемными кранами, взбирались на железные лестницы, в кабины кранов, на погрузочные площадки, на островерхие стеклянные крыши, занимали боевые позиции, превращая каждый завод в крепость. Красные знамена появлялись на верхушках заводских труб. Рабочие собирались во дворах, разделялись на роты, подразделения, взводы; командиры взводов с красными повязками на рукавах отдавали приказы; когда возвращались патрули, посланные на разведку, рабочие покидали завод,

молча шагали вдоль его стен, направляясь к стратегическим пунктам города. К Палате труда со всех сторон подтягивались отряды, обученные тактике уличных боев, чтобы защитить от возможного нападения комитеты профсоюзов, у всех дверей и на крышах ставили посты, в кабинетах на полу под окнами были сложены ручные гранаты. Машинисты отцепляли локомотив и на полной скорости ехали на станцию, бросая поезд в безлюдной местности. Деревенские жители перегораживали дороги повозками, чтобы помешать мобилизации фашистов и не дать подкреплениям чернорубашечников проехать из одного города в другой. Засев за изгородями, красногвардейцы, вооруженные охотничьими ружьями, вилами, мотыгами и серпами, ждали появления грузовиков с фашистами. Перестрелки завязывались на улицах, на железнодорожных путях, перекидывались из деревни в деревню, слышались в увешанных красными флагами предместьях больших городов. По тревожному сигналу заводского гудка, оповещавшего о забастовке, карабинеры, солдаты королевской гвардии, полицейские затворялись в казармах: Джолитти был слишком либералом, чтобы вмешиваться в борьбу, которую рабочие так успешно вели своими силами против врагов государства.

В угрожающей пустоте, образовавшейся вокруг них с началом забастовки, отряды фашистов, подготовленные к уличным боям, располагались на перекрестках, взводы, чьей специальностью были оборона и захват домов, готовы были идти на укрепление слабых мест, на защиту позиций, которым угрожало нападение, наносить стремительные и жестокие удары по организационным центрам противника; штурмовые отряды чернорубашечников, специализировавшиеся на просачивании на

вражескую территорию, вылазках, индивидуальных акциях, вооруженные ножами, гранатами и горючими материалами, ждали у грузовиков, которым предстояло доставить их на место сражения. Это были отборные части, предназначенные для карательных операций. В тактике чернорубашечников карательные операции занимали одно из важнейших мест. Как только в предместье или в деревне становилось известно о гибели какого-нибудь фашиста, штурмовые отряды отправлялись на задание: Палаты труда, рабочие ячейки, дома профсоюзных вожаков немедленно подвергались нападению, опустошению, поджогам. Вначале, когда тактика карательных мер еще была новостью, красногвардейцы встречали фашистов стрельбой, у Палат труда, рабочих ячеек, на улицах предместий и деревень завязывался бой не на жизнь, а на смерть. Но страшная тактика вскоре принесла свои плоды: ужас перед карательными акциями подорвал боевой дух красногвардейцев, отнял у них мужество и желание защищаться, поразил в самое сердце организации трудящихся. При приближении чернорубашечников красногвардейцы, деятели социалистической партии, секретари профсоюзов, руководители стачечных комитетов убегали в поля, уходили в горы. Бывало, что все жители деревни, в которой убили фашиста, убегали в поля: прибыв на место, штурмовые отряды заставляли только пустые дома, безлюдные улицы, и на мостовой — труп в черной рубашке.

Молниеносной, решительной и беспощадной тактике фашистов профсоюзные вожаки могли противопоставить лишь то, что они называли безоружным сопротивлением. Хотя официально они брали на себя ответственность только за забастовки, они не упускали случая разжечь боевой дух

трудящихся любыми средствами. Они делали вид, будто не знают, что во всех Палатах труда и рабочих ячейках имеются запасы ружей и гранат: согласно их планам, забастовка не должна была быть мирной, она должна была приводить к состоянию войны, создавать условия для применения рабочей тактики уличных боев. «Забастовка, — говорили они, — это наша карательная акция, это наше невооруженное сопротивление фашистскому насилию». Однако они прекрасно знали, что рабочие приходили в Палату труда за оружием; сам климат забастовки, накаленный, гнетущий, толкал рабочих на вооруженную борьбу. Их попытки представиться беззащитными и невинными жертвами насилия со стороны противников, этакими красными ягнятами, которых режут черные волки, была так же смешна, как толстовские сомнения некоторых фашистов из либералов, не желавших признать, что сторонники Муссолини хоть раз выстрелили из револьвера, хоть раз кого-то стукнули дубинкой или дали кому-то хоть каплю касторки. При всем лицемерном миролюбии вожаков рабочих организаций среди чернорубашечников тоже насчитывались убитые. Не надо думать, будто фашистам никогда не приходилось туго. Иногда целые деревни, кварталы, области брались за оружие. Всеобщая забастовка была сигналом к восстанию. Чернорубашечников атаковали в домах, на улицах вырастали баррикады, группы рабочих и крестьян занимали деревни, шли в города, охотились на фашистов. Достаточно вспомнить резню в Сарцане, чтобы убедиться, что рабочие были не столь лицемерны, как их вожаки. В июле 1921 года в городке Сарцана были убиты пятьдесят чернорубашечников; раненых добивали даже на носилках, у дверей больниц; сотню других, спасшихся

из города бегством, искали по лесам толпы женщин и мужчин с вилами и серпами. Хроника гражданской войны в Италии в 1920-1921 годах, то есть хроника подготовки фашистского переворота, изобилует такими случаями бесчеловечного насилия.

Чтобы положить конец революционным забастовкам и восстаниям рабочих, которые становились все более масштабными и порой даже охватывали целые области, фашисты выработали новый метод: систематическая оккупация беспокойных районов. В определенный день чернорубашечники собирались на мобилизационные пункты: тысячи и тысячи вооруженных людей — иногда пятнадцать, а то и двадцать тысяч обрушивались на города, поселки, быстро перемещаясь на поезде или грузовике из одной области в другую. В считанные часы вся область была оккупирована, и в ней объявлялось осадное положение. Все, что оставалось от местной социалистической или коммунистической организации — Палаты труда, профсоюзные комитеты, рабочие ячейки, редакции газет, кооперативы, — было разгромлено или методично разрушено. Красногвардейцев, не успевших скрыться, поили касторкой, избивали и снова поили; два-три дня подряд на площади в сотню квадратных километров без отдыха работали дубинки. К концу 1921 года эта тактика, систематически применявшаяся во все больших масштабах, сломала хребет политической и профсоюзной организации пролетариата. С опасностью красной революции было покончено навсегда. У гражданина Муссолини большие заслуги перед родиной, думали буржуа всех мастей; теперь, когда его миссия выполнена, чернорубашечники могут уйти на покой. Но очень скоро им пришлось

убедиться, что победа фашизма над трудящимися сломала хребет и государству.

XV

Тактика, примененная Муссолини для захвата власти, могла быть разработана и воплощена в жизнь только марксистом. Ни в коем случае не следует забывать, что Муссолини получил марксистскую подготовку. Особенностью революционной ситуации в Италии, вызывавшей смех и негодование у Ленина с Троцким, была неспособность итальянских коммунистов воспользоваться на редкость благоприятным стечением обстоятельств: близкие к восстанию всеобщие забастовки 1919 и 1920 годов, кульминацией которых было занятие предприятий рабочими в северной Италии в 1920 году, не выдвинули ни одного руководителя, способного повести горстку храбрецов на штурм государства. На фоне всеобщей забастовки какой-нибудь маленький Троцкий из провинции смог бы взять власть в свои руки, не спросив разрешения у короля.

Муссолини оценивал ситуацию с точки зрения марксиста, он не верил в успех восстания, которое ему пришлось бы направить одновременно против правительственных сил и против сил пролетариата. Презрение к социалистическим и коммунистическим вожакам, не решавшимся захватить власть, не мешало ему презирать тех, кто, подобно Д'Аннунцио, собирался свергнуть правительство, не заручившись сперва поддержкой или хотя бы нейтралитетом рабочих организаций. Муссолини не дал бы сломать себе хребет всеобщей забастовкой: в отличие от глубоко национального Габриэле он не позволял себе недооценивать роль пролетариата в революционной

игре. Его чувство современности, его марксистское понимание политических и социальных проблем нашего времени помогли ему осознать, что в 1920 году изолированный националистический заговор в бланкистском духе не имеет никакой надежды на успех.

Не надо усматривать в тактике фашистского государственного переворота замысел реакционера: у Муссолини не было ничего от Д'Аннунцио, от Каппа, Примо де Ривера или Гитлера. Как марксист, взвешивал он силы пролетариата и их роль в революционной ситуации 1920 года, как марксист, пришел к заключению, что прежде всего надо уничтожить профсоюзные объединения трудящихся, на которые, несомненно, стало бы опираться правительство при защите государства. Всеобщей забастовки он боялся: урок Бауэра не прошел для него даром. Официальные историки фашизма, желая доказать, что он не был реакционером, ссылаются на его программу 1919 года. Действительно, фашистская программа 1919 года, в которую искренне верило большинство чернорубашечников (старая гвардия до сих пор осталась верна идеалам 1919 года), была республиканской и демократической. Но марксистская подготовка Муссолини видна не в программе 1919 года, а в концепции фашистского государственного переворота, в ее логике, в ее методе и железной последовательности в ее осуществлении. Дальше мы увидим на примере Гитлера, во что может превратиться тактика, изобретенная марксистом, в истолковании и исполнении реакционера.

Те, кто хотел видеть в фашизме лишь способ защиты государства от коммунистической опасности, или же просто реакцию на политические и социальные завоевания пролетариата, считали, что Муссолини к

середине 1921 года уже сделал свое дело, что игра его сыграна, и чернорубашечникам можно уйти на покой. К тому же выводу, но по совершенно другим причинам, пришел и Джолитти в марте 1921 года, после всеобщих забастовок, показавших всю грозную мощь фашизма. Гражданская война достигла пугающих масштабов: обе стороны несли тяжелые потери, но эта кровавая борьба, изобиловавшая беспримерными по жестокости эпизодами, закончилась поражением пролетарских сил. Для Джолитти, который разыгрывал против фашизма профсоюзную карту, крах рабочего движения стал полной неожиданностью: фашизм вышел победителем из кровавой схватки, его боевой задор ясно показывал, каковы его дальнейшие планы, и он был великолепно вооружен для борьбы с государством. Что же можно было противопоставить фашизму? Профсоюзы уже завершили свою миссию по защите государства. Политические партии, составлявшие большинство в парламенте, были бессильны против этой могущественной вооруженной организации, опиравшейся на насилие и беззаконие. Оставалось лишь попытаться парламентаризировать фашизм, — старая тактика либерала, который за предыдущие тридцать лет создал в Италии тип парламентской диктатуры на службе у монархии, лишенной конституционных предрассудков. Муссолини осуществлял свою политическую программу без ущерба для революционной тактики и позволил вовлечь себя в эту игру лишь в разумных пределах. На майских выборах 1921 года фашистская партия согласилась войти в Национальный блок, — так, с помощью всеобщего избирательного права, Джолитти намеревался опорочить и разложить воинство чернорубашечников.

Формирование Национального блока проходило с большими трудностями. Конституционные партии не желали становиться на одну доску с вооруженной организацией, у которой была республиканская программа. Но Джолитти беспокоила не партийная программа 1919 года, более или менее республиканская и демократическая: его беспокоила тактика фашистов и задачи этой тактики. Целью Муссолини был захват власти; и надо было признать его предвыборную программу, чтобы отдалить фашизм от главной задачи его революционной тактики. Джолитти вел честную игру только плохими картами, и на этот раз ему повезло не больше, чем когда он хотел нечестно сыграть на соперничестве Д'Аннунцио и Муссолини. Фашизм не дал заманить себя в парламентскую ловушку, а остался верен своей тактике: пока два десятка депутатов-фашистов, прошедших в парламент на майских выборах, раскалывали Национальный блок, чернорубашечники применяли к республиканским и католическим профсоюзам те же насильственные методы, с помощью которых они разогнали профсоюзы социалистов. Перед восстанием надо было убрать с дороги все организованные силы, как левого, так и правого толка, способные поддержать правительство, помешать фашистам, напасть на них с тыла в решающий момент государственного переворота. Надо было предотвратить не только всеобщую забастовку, но и смыкание в единый фронт правительства, парламента и пролетариата. Фашизму необходимо было создать вокруг себя вакуум, превратить в *tabula rasa* любую группировку, политическую или профсоюзную, пролетарскую или буржуазную — профсоюзы, кооперативы, рабочие ячейки, Палаты труда, газеты, политические партии. К большому

удивлению реакционной и либеральной буржуазии, думавшей, что фашизм отжил свой век, и к большой радости рабочих и крестьян, чернорубашечники, разогнав республиканские и католические организации, взялись за либералов, демократов, масонов, консерваторов и вообще всех благонамеренных буржуа. Борьба с буржуазией вдохновляла фашистов гораздо больше, чем борьба с пролетариатом. Штурмовые отряды Муссолини состояли по большей части из рабочих, мелких ремесленников и крестьян. И потом, борьба против буржуазии была уже борьбой против правительства, против государства. Либералы, демократы, консерваторы, призывавшие фашистов войти в Национальный блок, поспеившие записать Муссолини в «спасители родины» (вот уже полвека Италия просто изобилует «спасителями родины»: то, что вначале было высокой миссией, превратилось чуть не в профессию, а от страны, которую слишком много раз спасали, можно ждать чего угодно), никак не могли признаться самим себе, что целью Муссолини было не традиционное спасение Италии, а захват власти. Вот эта его программа была гораздо искреннее, чем программа 1919 года. Теперь для либеральной и реакционной буржуазии не было ничего более противозаконного и вопиющего, чем насилие фашистов, столь горячо одобрявшееся ими, пока оно было направлено против пролетарских организаций. Кто бы мог подумать, что Муссолини, такой замечательный патриот в пору своей борьбы с коммунистами, социалистами и республиканцами, вдруг станет таким опасным человеком, честолюбцем без буржуазных предрассудков, заговорщиком, рвущимся к власти через голову короля и парламента?

Если фашизм стал опасен для государства, то в

этом виноват Джолитти. Фашизм надо было задушить сразу, с самого начала объявить вне закона, подавить силой оружия, как это было сделано с Д'Аннунцио. Этот «националистический большевизм» выглядел гораздо опаснее, чем большевизм русского толка, который буржуазии теперь уже, можно сказать, не был страшен. Смогло бы правительство Бономи исправить ошибки правительства Джолитти? Для Бономи, старого социалиста, проблема фашизма сводилась к проблеме полицейских мер. Между этим марксистом, который с помощью реакционной полицейской тактики пытался задушить фашизм прежде, чем он созреет для власти, и Муссолини, стремившимся выиграть время, в последние месяцы 1921 года завязалась беспощадная борьба, сопровождавшаяся репрессиями, актами насилия и кровопролитными столкновениями. Хотя Бономи и удалось создать против чернорубашечников единый фронт буржуазии и пролетариата (рабочие, при поддержке правительства, усиленно трудились над восстановлением своих организаций), революционная тактика Муссолини продолжала неуклонно прогрессировать. После срыва перемирия между фашистами и социалистами недостаток мужества и проницательности у буржуазных партий, их беззащитный эгоизм, борьба с насилием чернорубашечников методом примитивного, ура-патриотического макиавеллизма в конце концов деморализовали армию трудящихся. Тысяча девятьсот двадцать второй год начинался грустной и сумрачной картиной: фашизм, с жестокостью и методичностью, понемногу взял под свой контроль все жизненно важные центры страны. Политические, военные и профсоюзные организации фашистов пронизывали всю Италию. Карта полуострова, этот сапожок со

всеми городами, селами, беспокойными, пылкими, враждующими между собой людьми, теперь, словно татуировка, лежал на правой ладони Муссолини. Бономи пал, взвихрив облако пыли, погребенный под обломками политического, профсоюзного, буржуазного, пролетарского мира. Государство, осаждаемое в Риме фашистами, которые уже заняли всю страну, было отдано на милость победителя: его авторитет, рассыпавшийся в прах, сохранялся лишь на сотне крохотных островков — в префектурах, муниципалитетах, полицейских казармах, — разметанных по всей Италии нарастающим приливом революции. Между королем и правительством началось размежевание, и тот, и другие боялись ответственности, и трещина эта все углублялась — таково извечное коварство конституционных монархий. Король опирался на армию и сенат, правительство — на полицию и парламент: это, естественно, вызвало подозрения у либеральной буржуазии и у трудящихся.

Летом 1922 года, когда Муссолини сообщил стране, что фашизм готов к взятию власти, правительство огромным усилием попыталось предотвратить восстание, прорвать осаду фашистов, подняв на борьбу рабочих и крестьян. В августе по приказу своего рода комитета общественного спасения, объединявшего демократическую, республиканскую партию и Всеобщую конфедерацию труда, началась всеобщая забастовка. Это была так называемая «легалитарная забастовка», последний бой, который защитники свободы, демократии, законности и государства давали армии чернорубашечников накануне восстания. Наконец-то Муссолини мог расправиться с самым большим, единственным по-настоящему опасным врагом

фашистского переворота: всеобщей забастовкой, которая уже три года грозила сломать хребет революции, контрреволюционной забастовкой, которую он три года сдерживал, ведя непрерывную борьбу с пролетарскими профсоюзами. Правительство и реакционная буржуазия, организовав контрреволюционное движение рабочих против фашизма, надеялись обуздать революционный порыв чернорубашечников, еще на какое-то время отвести от государства революционную опасность. Но на места бастующих вставляли отряды фашистских штрейкбрехеров, а жесточайший натиск чернорубашечников в двадцать четыре часа разбил защитников государства, сплотившихся под красным знаменем Всеобщей конфедерации труда. Не в октябре, а в августе выиграл фашизм решающую битву за власть: после провала «легалитарной забастовки» правительство Факты, слабого, честного и законопослушного человека, продолжало существовать лишь для того, чтобы прикрывать короля.

Хотя фашистская программа 1919 года, в которую искренне верила старая гвардия чернорубашечников, была программой республиканской, король не нуждался в защите правительства Факты. Перед захватом власти Муссолини внезапно отрекся от своей республиканской программы, и возгласом «Да здравствует король!» дал сигнал к восстанию. Фашистский переворот был начисто лишен той театральности, которой его наделяют казенные плутархи, больные высокопарностью, красноречием и литературой. Не было ни громких фраз, ни картинных поз, ни величественных жестов в духе Цезаря, Кромвеля или Бонапарта. Легионы

чернорубашечников, идущие на Рим, к счастью, не были римскими легионерами, вернувшимися из Галлии, и Муссолини не был одет как римский консул. История не пишется по выпущенным к случаю олеографиям или картинам придворных художников. Трудно представить, откуда у Наполеона, написанного Давидом, мог взяться его гениальный ум, столь ясный, столь прозорливый, столь близкий нашему времени, и подобающий человеку, так же непохожему на портрет Давида или статую Кановы, как Муссолини непохож на Юлия Цезаря или кондотьера Коллеоне. На некоторых олеографиях чернорубашечники во время октябрьского восстания 1922 года гуляют по итальянской земле среди триумфальных арок, мавзолеев, колонн, портиков и статуй, под летающими в небе орлами, как будто фашистский переворот состоялся в Италии времен Овидия и Горация, в исполнении римских легионеров и в постановке самого Юпитера, озабоченного тем, как бы ему соблюсти конституционные приличия и выдержать в спектакле стилизацию под античность. На других олеографиях Муссолини 1922 года изображен в духе 1830-х годов: Муссолини-романтик среди неоклассического пейзажа, пешком или верхом на коне, во главе фашистских легионов, окруженный членами квадрумвирата или военно-революционного комитета: на фоне суровых и мрачных окрестностей Рима, развалин акведуков Муссолини кажется персонажем с картины Пуссена, из элегии Гете, из драмы Пьетро Косса, из стихотворения Кардуччи или Д'Аннунцио; можно подумать, по карманам брюк у него рассованы книги Ницше. Эти олеографии — апофеоз дурного вкуса в итальянской культуре и литературе за последние полвека. Глядя на подобные изображения фашистского переворота, диву даешься,

как это Муссолини смог свергнуть правительство и захватить власть.

В Муссолини 1922 года нет ничего олеографического: это наш современник, хладнокровный и дерзкий, неистовый и расчетливый. Верный своей концепции революционной тактики, он тщательно, до мельчайших подробностей разрабатывает план государственного переворота. Все противники фашизма — профсоюзные объединения рабочих, коммунисты, социалистическая, республиканская, католическая, демократическая, либеральная партии, — к моменту восстания оказались вне игры. Всеобщая забастовка, окончательно подавленная в августе, уже не сможет сорвать восстание: рабочие не осмелятся бросить работу и выйти на улицу. Кровавые карательные меры против «легалитарной забастовки» навсегда сломили боевой дух пролетариата. Когда Муссолини в Милане поднял черное знамя восстания, фашистские бригады техников и специалистов быстро взяли под контроль все стратегические пункты технической структуры государства. За сутки вся Италия была захвачена двухсоттысячной армией чернорубашечников. Сил полиции, карабинеров, королевской гвардии оказалось недостаточно для восстановления порядка в стране: повсюду, где бы полицейские ни пытались выбить чернорубашечников с занятых ими позиций, эти попытки захлебывались под огнем фашистских пулеметов. Руководство восстанием осуществлялось по плану, разработанному Муссолини, из Перуджи, где находился генеральный штаб революции, членами квадрумвирата, или военно-революционного комитета Бианки, Бальбо, Де Векки и Де Боно. Пятьдесят тысяч человек были стянуты в окрестности Рима для похода на столицу: войско чернорубашечников начинает

осаду монархии с криком: «Да здравствует король!». И конституционный монарх вынужден предпочесть новоиспеченную лояльность Муссолини, за которым — двести тысяч винтовок, испытанной лояльности безоружного правительства. Когда совет министров решает дать на подпись королю декрет, устанавливающий на всей территории Италии осадное положение, король вроде бы отказывается его подписать. Что тогда произошло, в точности неизвестно, но факты таковы: осадное положение было объявлено, однако продлилось всего полдня. Слишком мало, если правда, что король подписал декрет, и чересчур долго, если он не подписал его.⁹

Благодаря своей революционной тактике, систематически применявшейся в течение трех лет кровопролитной борьбы, фашизм стал хозяином Италии гораздо раньше, чем чернорубашечники вошли в Рим. Восстанию оставалось лишь свалить правительство. Ни осадное положение, ни объявление Муссолини вне закона, ни вооруженное сопротивление не смогли бы в октябре 1922 года сорвать фашистский переворот. «Благодаря Муссолини, — говорил Джолитти, — я понял, что государство должно обороняться не от программы революции, а от ее тактики». И с улыбкой добавлял, что не сумел воспользоваться полученным уроком.

XVI

Люди, не верящие в гитлеровскую опасность, никогда не упускают случая иронически заметить, что Германия — это не Италия. Правильнее было бы

⁹ По современным данным, король Виктор Эммануил III отказался подписать декрет об осадном положении.

сказать, что тактика Гитлера — это не тактика Муссолини. Когда в 1930 году я приехал в Германию, чтобы поближе познакомиться с так называемой гитлеровской опасностью, мне часто приходилось слышать вопрос: можно ли считать Гитлера немецким Муссолини? Помню, я ответил на это г-ну Симону, главному редактору «Франкфуртер цайтунг», что Италия в 1919-1922-ом, как и в последующие годы, не потерпела бы у себя Гитлера. Такой ответ, по-видимому, не удовлетворил его, и он оборвал разговор.

На самом деле Гитлер — лишь карикатура на Муссолини. Подобно некоторым итальянским плутархам, большим высокопарностью, красноречием и литературой, а также националистам почти всей Европы, Гитлер видит в Муссолини лишь разновидность Юлия Цезаря в модном костюме и в цилиндре, испорченного чтением Ницше и Барреса, живо интересующегося изобретениями Форда и системой Тейлора, сторонника промышленной, политической и моральной стандартизации. Возможно, Гитлер, этот полнеющий, заносчивый австриец с маленькими усиками над короткой и тонкой губой, с жесткими недоверчивыми глазами, с неумным честолюбием и циничными намерениями, как все австрийцы, питает слабость к героям Древнего Рима и к культуре итальянского Возрождения, однако он не настолько лишен чувства юмора, чтобы не понимать: Германия времен Веймарской республики — не та страна, которую может завоевать мелкий буржуа из Верхней Австрии, переодетый Суллой, Цезарем или кондотьером. Пусть даже он и не чужд того особенного эстетизма, который присущ людям, стремящимся к диктатуре, все равно невозможно поверить, будто он (по утверждению его противников)

обнимает бюсты кондотьеров в мюнхенских музеях. Будем справедливы: Гитлер хотел бы подражать Муссолини, но лишь так, как северный человек, немец, хочет подражать человеку с юга, латинянину. Он думает, будто можно осовременить Муссолини, переделав его на немецкий лад, — но из этого не выйдет даже пародии на классицизм. Его идеальный герой — Юлий Цезарь в тирольском костюме. Просто удивительно, как это в климате Веймарской республики могла созреть такая карикатура на Муссолини, которая вызвала бы смех даже у итальянского народа.

Гитлер, австриец из Браунау, непохож на бюст Муссолини работы Вильдта (в виде римского императора, с повязкой верховного понтифика на лбу), или на конную статую работы Грациози, гордо возвышающуюся у стадиона в Болонье (этакий джентльмен XV века, для благовоспитанного героя слишком лихо сидящий в седле). Вместе с тем Гитлер не таков, каким его изображают противники. «Гитлер, — пишет Фридрих Хирт, слишком горячий поклонник Штреземана, чтобы справедливо относиться к вождю национал-социалистов, — по виду типичный уроженец Баварии или Верхней Австрии. Зайдите в любой магазин или кафе в Браунау или Линце в Австрии, либо в Пассау или Ландсхуте в Баварии — и вы заметите, что все приказчики и все кельнеры смахивают на Гитлера». По мнению противников Гитлера, единственным успехом этого человека, которого, конечно, нельзя принять за приказчика из Браунау или кельнера из Ландсхута, но который все же несет на себе печать немецкой буржуазной посредственности, является ораторское искусство, обаяние благородного, пылкого, мужественного красноречия.

Не следует ставить в вину Гитлеру то, что одним лишь красноречием он сумел подчинить железной дисциплине сотни тысяч здравомыслящих людей, бывших фронтовиков, закаленных четырьмя годами войны. И несправедливо было бы осуждать его за то, что он сумел убедить шесть миллионов избирателей отдать голоса за его политическую, социальную и экономическую программу, — тоже не в последнюю очередь благодаря красноречию. Ибо не имеет смысла доискиваться, в чем именно залог успеха: в его словах или в его программе. О катилитариях следует судить не по их ораторскому искусству и не по их политической программе, а только по их революционной тактике. Нам важно определить, действительно ли Веймарская республика находится под угрозой гитлеровского государственного переворота, а точнее — какова революционная тактика этого чересчур красноречивого Катилины, который собирается захватить власть в Германии и навязать немецкому народу свою диктатуру.

Боевая организация национал-социалистов построена по примеру фашистской боевой организации 1919-1922 годов. Вся Германия охвачена сетью гитлеровских ячеек с центром в Мюнхене. Революционный костяк партии составляют национал-социалистские штурмовые отряды, набранные из бывших фронтовиков, имеющие военизированную структуру; в руках вождя, умеющего ими воспользоваться, они могли бы представлять серьезную опасность для Германии. Укрепленные опытными офицерскими кадрами Германской империи, вооруженные револьверами, ручными гранатами и дубинками (склады снарядов, винтовок, пулеметов и огнеметов эшелонированы по всей Баварии, в Рейнской области и вдоль восточных границ), они

являют собой великолепно оснащенную и обученную военную организацию, готовую к государственному перевороту. Подчиненные железной дисциплине, раздавленные деспотической волей своего вождя, который претендует на непогрешимость и осуществляет внутри партии жесткую диктатуру, штурмовые отряды представляются не национальной революционной армией немецкого народа, а слепым орудием гитлеровского честолюбия. Ветераны Великой войны, мечтавшие пойти на штурм рейха и под знаменем со свастикой сражаться за свободу германского отечества, начинают понимать, что в итоге они служат честолюбивым планам и личным интересам речистого, циничного политика, для которого революция сводится к партизанщине в предместьях, перестрелкам с красногвардейцами, бесславным стычкам с расфранченными рабочими или изголодавшимися безработными, к победе на общегерманских выборах на фоне стрельбы в рабочих кварталах больших городов.

В Кенигсберге, Берлине, Дрездене, Мюнхене, Нюрнберге, Штутгарте, Франкфурте, Кельне, Дюссельдорфе, Эссене офицеры-штурмовики признавались мне, что чувствуют себя униженными, низведенными до роли преторианцев при революционном вожде, отрабатывающем на своих же сторонниках приемы полицейских операций, которые понадобятся ему в один прекрасный день для навязывания своей личной диктатуры немецкому народу. В самой национал-социалистской партии свобода совести, чувство собственного достоинства, ум и культура преследуются с тупой и беспощадной ненавистью, отличающей диктаторов-теократов. Гитлеру, хоть он и австриец, не хватает ума понять, что некоторые старинные правила иезуитской

дисциплины сегодня устарели даже для ордена иезуитов, и что весьма опасно применять их к политической партии, ставящей себе целью борьбу за национальное освобождение немецкого народа. Нельзя выиграть битву за свободу с солдатами, которые не смеют поднять глаз.

Гитлер принижает своих сторонников не только тем, что применяет против них полицейские приемы, насаждает доносительство и двуличие, но также и своей революционной тактикой. После смерти Штреземана красноречие Гитлера делалось все более героическим и воинственным, в то время как его революционная тактика медленно сдвинулась в сторону парламентского пути к захвату власти. Первые симптомы этой эволюции проявились в 1923 году. После провала мюнхенского путча Гитлера, Кара и Людендорфа весь революционный пыл Гитлера уходит в красноречие. Национал-социалистские штурмовые отряды постепенно превращаются в «гитлеровских молодчиков».

Нынешний кризис в партии Гитлера начался после смерти Штреземана. Только этот грозный противник мог заставить Гитлера выложить карты на стол и вести честную революционную игру. Штреземан Гитлера не боялся: этот миролюбивый человек питал некоторую слабость к насильственным методам борьбы. 23 августа 1923 года, в речи на собрании промышленников Штреземан заявил, что не колеблясь прибег бы к диктаторским мерам, если бы обстоятельства потребовали этого. В то время гитлеровские штурмовики еще не превратились в «гитлеровских молодчиков», преторианцев на службе у речистого разбойника: они еще были революционной армией, посвятившей себя борьбе за свободу немецкого отечества. Смерть Штреземана

позволила Гитлеру отойти от насильственных методов борьбы, что привело к резкому падению авторитета штурмовиков в партии. Штурмовики превращаются во вражеское гнездо. Гитлер боится экстремистского крыла своей партии. Их мощь — в тактике насилия. Туго придется Гитлеру, если штурмовые отряды заберут слишком большую силу: возможно, государственный переворот и осуществится, но он никоим образом не приведет к диктатуре Гитлера.

Не армии недостает национал-социалистскому экстремизму, а вождя. Штурмовики, еще вчера воображавшие, будто они борются за свободу рейха, начинают понимать, что они лишь слепые орудия чужого властолюбия. Вспышки недовольства, замечаемые с недавних пор среди национал-социалистов, происходят не из-за неудовлетворенного честолюбия какого-нибудь маленького начальника, как утверждает Гитлер, но от глубокого разочарования штурмовиков: они видят, что Гитлер раз за разом упускает случай поставить вопрос о восстании.

Возможно, экстремисты национал-социализма и неправы, считая Гитлера псевдореволюционером, оппортунистом, «адвокатом», воображающим, будто революцию можно сделать одними речами, военными парадами, угрозами и парламентским шантажом. После шумной победы на выборах, когда в рейхстаге оказалась целая сотня депутатов от гитлеровской партии, внутрипартийная оппозиция, не приемлющая оппортунистической тактики Гитлера, все громче выступает за решение вопроса о власти путем восстания. Гитлера упрекают в том, что он опасается риска, связанного с революционной тактикой, что он боится революции. Один из командиров штурмовых отрядов говорил мне в Мюнхене, что Гитлер — это

Юлий Цезарь, который не умеет плавать и замешкался на берегу Рубикона, слишком глубокого, чтобы его можно было перейти вброд. Его жестокость по отношению к собственным сторонникам можно объяснить лишь опасениями, что придется пойти у них на поводу, что партийные экстремисты, штурмовики, горячие головы против воли вынудят его встать на путь восстания. Главная его забота — предупредить удар в спину со стороны экстремистов в партии, укротить штурмовиков, превратить их в свое послушное орудие. Как все катилинарии, которые не сразу могут сделать выбор между компромиссом и восстанием, Гитлер вынужден время от времени идти на уступки экстремистам, как, например, уход из рейхстага части депутатов национал-социалистов, но за этими уступками он никогда не теряет из виду конечную цель своей оппортунистической политики — приход к власти законным путем. Правда, что отказываясь от насильственных методов, от вооруженной борьбы за власть, он все больше отдаляется от революционного духа своих сподвижников, что национал-социализм теряет на революционной арене все, нажитое им на арене парламентаризма: но Гитлер знает, что таким образом он завоевывает симпатии все более и более широких слоев избирателей, обеспечивает своей политической программе поддержку огромного большинства мелкой буржуазии, которая необходима ему для того, чтобы оставить опасную роль Катилины и перейти на более надежную роль законно избранного диктатора.

Кризис, переживаемый сейчас национал-социалистской партией, можно назвать кризисом социал-демократизации. Это медленное движение в сторону легализации, к легальным формам и методам борьбы: национал-социализм —

революционная партия, которая постепенно превращается в громадную выборную организацию, нечто вроде Национального блока, с 1919 по 1924 год управлявшего Францией, считающую насилие неким грешком молодости, одним из тех грешков, которые портят репутацию, но не препятствуют бракам по расчету. Это Армия спасения немецкого патриотизма: она не могла бы иметь руководителя лучше Гитлера. В общем, немецкие патриоты, которые не могли принять всерьез Муссолини, принимают всерьез карикатуру на него. Старая история: патриоты в Германии — всегда лишь карикатура на истинных немцев.

Среди уступок, которые Гитлер в последнее время обещал экстремистам своей партии — создание в Мюнхене школы для обучения штурмовиков тактике восстания. Но в чем заключается гитлеровская тактика восстания? Вождь национал-социалистов не ставит перед собой задачу захватить власть, как сделал бы марксист. Он, по-видимому, не придает значения роли профсоюзных организаций в защите Германского рейха. Об этой роли он судит не как марксист, а как реакционер. Вместо того, чтобы бороться с организациями пролетариата, он ополчается на пролетариев. Его охота на коммунистов — не более как охота на рабочих. Насильственные методы, применявшиеся чернорубашечниками Муссолини против рабочих организаций, были вызваны необходимостью ликвидировать любую организацию — политическую или профессиональную, пролетарскую или буржуазную, профсоюзы, кооперативы, объединения газетчиков, рабочие ячейки, Палаты труда, политические партии, чтобы предотвратить всеобщую забастовку и расколоть единый фронт правительства, парламента и пролетариата. Но ничто не может оправдать

бессмысленную и преступную ненависть штурмовиков Гитлера к рабочим как таковым. Гонения на трудящихся никогда не помогали реакционным партиям, стремящимся к власти в демократическом государстве, продвинуться хоть на шаг по пути к восстанию. Чтобы избавить свою партию от мощного давления организованных масс, Гитлеру следовало бы вести серьезную, систематическую борьбу с профсоюзами. Защита государства вверена не только рейхсверу и полиции: тактика правительства состоит в том, чтобы противопоставить штурмовым отрядам вооруженные отряды коммунистической красной гвардии и профсоюзные объединения. Забастовка — вот защита рейха от гитлеровской опасности. Оппортунизм Гитлера делает его уязвимым для тактики забастовщиков: паралич экономики целого города или области больно ударит по интересам буржуазии, из рядов которой Гитлер пополняет армию своих избирателей. Именно забастовками, мощными ударами в спину национал-социалистским штурмовикам немецкий пролетариат вынудил Гитлера отказаться от фашистских методов борьбы с профсоюзами и превратить свою революционную партию, великолепное оружие для захвата власти, в какую-то добровольческую полицию для ведения партизанской войны с коммунистами в предместьях. А эта война довольно часто сводится к охоте на рабочего как такового: вот что осталось от революционной тактики Муссолини в исполнении реакционера. Надо отдать справедливость Гитлеру: ничто не способно его встревожить, кроме угрозы его оппортунистической политике.

После нескольких неудач Гитлер отказался от муссолиниевских методов борьбы с профсоюзными объединениями рабочих: он опасался, что неудачи

снизят авторитет штурмовиков в партии, и это сделает их революционную миссию политически бесплодной, но не только этого боится Гитлер. Он прекрасно знает, что неизбежный ответ пролетариата, то есть всеобщая забастовка, паралич германской экономики, прежде всего заденет интересы его избирателей. А он не хочет лишаться симпатий буржуазии, это один из главных факторов его предвыборной стратегии. Он хочет завоевать власть, завоевав вначале рейхстаг. Он не желает сталкиваться с грозной мощью пролетарских профсоюзов, преграждающей ему дорогу к восстанию: на основе выборов, законными методами желает он вести сражение за власть с германским правительством и пролетариатом. Поэтому бесполезная партизанская война, вспыхивающая по воскресеньям в предместьях больших городов Германии между штурмовиками, этими заложниками шести миллионов граждан, голосующих за национал-социалистов, и вооруженными коммунистами-красногвардейцами, — эта война играет на руку парламентской социал-демократии, правительству, избирателям и правым партиям. Ведь должен же кто-то научить коммунистов сдержанности и скромности.

Но уверен ли сам Гитлер, что штурмовики долго будут терпеть такое положение, при котором они лишены своей революционной миссии и превращены в орудие антибольшевистской реакции в Германии? Их задача — не стычки с красногвардейцами в рабочих районах, а захват власти в государстве. Не для того несут они ярмо циничной и жестокой диктатуры Гитлера, чтобы драться с коммунистами в интересах тех, кто боится большевистской опасности, то есть в интересах как патриотически настроенной буржуазии, так и буржуазии социал-демократической. Они хотели

бы выступить против германского правительства, против парламента, против социал-демократии, против пролетарских объединений, против всех, кто стоит на их пути к восстанию. Цель их революционной тактики — не победа на выборах, а государственный переворот. А если сам Гитлер... Несмотря на крупные успехи на выборах, Гитлер еще далек от того, чтобы забрать в кулак всю Германию. Пролетариат еще отнюдь не сломлен: громадная армия рабочих, единственный серьезный противник национал-социалистской революции, сейчас сильнее, чем когда-либо, и готова до последней капли крови биться за свободу немецкого народа и отечества. Сегодня только пулеметы смогут открыть дорогу гитлеровскому наступлению. Завтра, быть может, будет уже слишком поздно.

Чего же ждет Гитлер, почему не отказывается от опасной политики оппортунизма? Хочет дождаться, пока национал-социалистская революция превратится в пленницу парламента? А все дело в том, что он боится быть объявленным вне закона. Эта карикатура на Муссолини, играя в избавителя отечества, вовсе не стремится походить на Суллу, Цезаря, Кромвеля, Бонапарта или Ленина. Он предстает обществу в облике мирного гражданина, защитника закона, ревнителя возрожденных национальных традиций, слуги государства... Гитлер, сказал бы Джолитти, это человек, у которого позади — большое будущее. Сколько упущенных возможностей! Сколько раз, умей он воспользоваться случаем, можно было бы захватить власть! Несмотря на его ораторское искусство, его успех на выборах, несмотря на бесспорное обаяние его имени, на легенды, которые окружают этого агитатора, увлекающего за собой толпы, этого решительного и неразборчивого в средствах

катилинария, несмотря на кипящие вокруг него страсти, несмотря на его опасное воздействие на воображение и авантюрный дух немецкой молодежи, Гитлер — это неудавшийся Цезарь. В Москве один большевик, соратник Троцкого и один из главных исполнителей его тактического замысла во время переворота 1917 года, высказал необычное суждение о Гитлере: «У него все недостатки и все достоинства Керенского. Он, так же как и Керенский, просто баба».

И правда, натура Гитлера — по сути женственная: в его уме, в его притязаниях, даже в его воле нет ничего от мужчины. Это слабый человек, пытающийся жестокостью скрыть недостаток энергии, поразительные слабости, болезненный эгоизм, неоправданное высокомерие. Общее для всех диктаторов свойство, одна из особенностей характерного для них понимания связи между людьми и событиями — это зависть; диктатура не только форма правления, но еще и наиболее законченное воплощение зависти в ее политическом, моральном и интеллектуальном аспектах. Гитлер, как и всякий диктатор, повинует не столько своим идеям, сколько своим страстям; его поведение по отношению к старым соратникам, штурмовикам, которые были с ним с первого дня, остались верны ему & несчастье, делили с ним унижения, опасности и тюремное заключение, которые добыли ему славу и могущество, можно объяснить только завистью, как это ни удивительно для тех, кто не знает диктаторов, не знает их душевного склада, одновременно неистового и робкого. Гитлер завидует тем, кто помог ему стать звездой первой величины на немецком политическом небосклоне; он боится их высокомерия, их энергии, их боевого духа, мужественной и бескорыстной воли к

действию, превратившей штурмовые отряды в великолепное оружие для захвата власти. Вся его жестокость направлена на то, чтобы унижить их гордость, задушить свободу совести, умалить их личные достоинства, из сподвижников сделать прислужников. Как все диктаторы, Гитлер любит только тех, кого он может презирать. Его заветное желание — в один прекрасный день получить возможность растлить, унижить, поработить весь немецкий народ во имя свободы, славы и могущества Германии.

В оппортунистической тактике Гитлера, в его отвращении к революционному насилию, в его ненависти ко всем проявлениям свободы и достоинства личности есть что-то нечистое, двусмысленное, сексуально извращенное. У каждого народа в годину бедствий, после войны, нашествий, голода появляется человек из толпы, который навязывает людям свою волю, свое честолюбие, свои обиды, который по-женски мстит своему народу за утраченную свободу, счастье и силу. В истории Европы настал черед Германии. Ей достался Гитлер — диктатор с душой мстительной женщины. Именно этой женственной сутью Гитлера объясняется его успех, его власть над толпой, энтузиазм, пробуждаемый им у немецкой молодежи. В глазах националистов Гитлер — целомудренный аскет, мистик революционного движения. Как бы святой. «О его связях с женщинами ничего не известно», — утверждает один из его биографов. Когда речь идет о диктаторах, вернее было бы сказать, что ничего не известно об их связях с мужчинами.

Бывают в жизни диктаторов моменты, когда вдруг высвечивается темная, болезненная, сексуальная подоплека их власти. Эти кризисные

моменты вполне раскрывают женственную суть их характера. В отношениях диктатора с его сторонниками эти кризисы наблюдаются во время мятежей. Боясь оказаться под властью тех, кого он унижил и поработил, диктатор с невероятной энергией защищается от взбунтовавшихся сподвижников: это в нем защищается женщина. Кромвель, Ленин, Муссолини — все они прошли через эти кризисы. Кромвель огнем и мечом подавил мятеж левеллеров, этих английских коммунистов XVII века; Ленин не пощадил восставших моряков Кронштадта; Муссолини жестоко обошелся с флорентийскими чернорубашечниками, чье восстание длилось почти год, вплоть до самого октября 1922 года. Странно, что Гитлеру еще не довелось защищаться от мощного восстания штурмовиков. Беспорядки, с некоторых пор вспыхивающие среди штурмовиков по всей Германии, возможно, являются первыми симптомами неминуемого кризиса. В революции оппортунизм — это предательство, за него надо расплачиваться. Горе диктаторам, которые становятся во главе революционной армии, но отступают перед ответственностью государственного переворота. Быть может, ухищрения и уступки приведут их к власти законным путем; но диктатуры, возникшие в результате хитроумной комбинации — всего лишь полудиктатуры. Они недолговечны. Только революционное насилие придает законность диктатуре, только государственный переворот обеспечивает ей прочность. Возможно, Гитлеру суждено прийти к власти в результате парламентского компромисса: чтобы предотвратить восстание штурмовиков, ему остается только отвлечь их от захвата власти, перенести их революционную миссию из сферы внутривластной в сферу внешней

политики. Заметьте, с некоторых пор главной темой гитлеровского красноречия стала проблема восточных границ. Немаловажно, что судьба Германии зависит более от парламентского компромисса, — чем от государственного переворота. Диктатор, который не осмеливается взять власть с помощью революционного насилия, не должен внушать страх Европе, если она решила защищать свою свободу до последнего вздоха.

Нынешняя ситуация в Германии не может не удивлять тех, кому известно, что немецкому народу всегда было присуще развитое чувство гражданского достоинства. Приходится признать, что Веймарская республика тяжело больна, что ее правящие классы, ее буржуазия, ее интеллектуальная элита глубоко деморализованы или развращены, — иначе невозможно поверить, что они готовы без всяких причин добровольно подчиниться диктатуре, которую даже сам Гитлер не смеет навязать им силой. Диктатуру нельзя принять: ей можно только уступить. Даже если ее несет с собой революция, уступить ей можно только после жестокой борьбы. Было бы смешно утверждать, будто русская буржуазия не боролась против большевиков. Говоря о событиях октября 1917 года в Петрограде, я не упустил случая вступить за Керенского, обвиняемого в том, что он не сумел защитить государство от красногвардейцев. Как все либеральные и демократические правительства, правительство Керенского могло защищать государство лишь с помощью полицейских мер. Либеральная техника защиты государства была и есть бессильна против коммунистической техники государственного переворота: бессильна она и против техники фашистского переворота. Опять-таки смешно было бы утверждать, что либеральное правительство, профсоюзы и конституционные партии Италии не

боролись против революционной тактики Муссолини. Борьба за власть в Италии длилась четыре года и была гораздо более кровавой, чем в Германии. Диктатура Ленина и диктатура Муссолини были установлены в результате ожесточеннейшей борьбы. Но какая сила, какая жестокая необходимость могла бы заставить правящие классы, буржуазию и интеллектуальную элиту Германии согласиться на диктатуру, к которой их не толкает революционное принуждение? Их неприятие Версальского мира, их твердое намерение ликвидировать экономические и политические последствия войны не могут оправдать их поведения перед угрозой надвигающейся гитлеровской диктатуры. Из всех бедствий проигранной войны, из всех тяжелых последствий Версальского мира, самой страшной катастрофой для немецкого народа явилась бы потеря гражданской свободы. Германия, без сопротивления приемлющая диктатуру Гитлера, Германия, оказавшаяся под пятой этой посредственной копии Муссолини не сумела бы занять подобающее ей место среди свободных народов Западной Европы. Печальный исход для немецкой буржуазии.

Сегодняшнюю ситуацию в Германии нельзя объяснить, как кое-кто пытается сделать, упадком чувства свободы в современной Европе. Моральные и интеллектуальные параметры буржуазии в Германии не таковы, как в прочих странах. И надо было бы признать этот упадок поистине катастрофическим, чтобы поверить, будто буржуазия всей Европы больше не способна защитить свою свободу, и будущее Европы станет рабским будущим. Но если правда, что параметры буржуазии в Германии иные, чем в прочих странах, если правда, что не у всех народов Европы одинаково развито чувство свободы, правда и то, что

проблема государства в Германии и почти повсюду в Европе сводится к одному и тому же. Проблема государства теперь стала не только проблемой власти, но и проблемой свободы. Если полицейских методов недостаточно для защиты государства от коммунистической или от фашистской опасности, к каким мерам может и должно прибегнуть правительство, не рискуя при этом ущемить свободу народа? Вот к чему сводится сейчас проблема защиты государства почти во всех странах.

В задачи этой книги не входит разбор и обсуждение политических, социальных и экономических программ катилитариев; ее цель — показать, что вопрос захвата и защиты государства — вопрос не политики, а техники, что в искусстве защиты государства действуют те же правила, что и в искусстве его захвата, что обстоятельства, благоприятные для государственного переворота, не обязательно бывают политического или социального порядка и не зависят от положения в стране. Быть может, эти соображения вызовут некоторое беспокойство даже у свободных граждан наиболее благоустроенных и цивилизованных стран Европы. Именно это беспокойство, столь естественное у свободного гражданина, побудило меня написать о том, как надо завоевывать современное государство, и как надо его защищать.

Шекспировский герой, Болингброк, герцог Херифордский, сказавший: «Хоть, право, мерзок яд, порою нужен он», возможно, был свободным гражданином.